

Сказание о пышнобедрой Сите, дочери скотовода Сумантры из рода храбрых воителей, и о двух ее мужьях (если здесь уместно это слово), кровавое и смущающее наши чувства, вызывает к душевной стойкости того, кто его услышит, к умению противопоставить острие духа свирепым забавам Майи.[1 - Майя — богиня иллюзии, олицетворение обманчивости и призрачности всего земного. В индийских религиях и идеалистической философии Майя — магическая сила, при помощи которой Брахма творит весь чувственно воспринимаемый мир.] Нам остается только пожелать, чтобы неколебимое мужество рассказчика послужило примером для его слушателей, ибо, конечно, большая смелость и решимость требуется на то, чтобы рассказать такую историю, чем на то, чтобы выслушать ее. И тем не менее от начала и до конца все происходило именно так, как здесь изложено.

В пору, когда людские сердца наполнились воспоминаниями, подобно тому как медленно, со дна, полнится хмельным напитком или кровью жертвенный сосуд, когда лоно строгой богопокорности отверзалось для приятия извечного семени и тоска по Матери вдыхала омолаживающий трепет в старые символы, множа толпы паломников, устремлявшихся по весне к обителям Великой кормилицы,[2 - Великая кормилица вселенной — один из эпитетов богини Кали.] — словом, о ту пору вступили в тесную дружбу двое молодых людей, мало отличавшихся друг от друга возрастом и достоинством каст, но весьма различных по внешнему облику. Младшего звали Нанда, того, что постарше, — Шридаман; одному минуло восемнадцать лет, другому уже двадцать один год, и оба они, каждый в свой день, были опоясаны священным вервием и сопричислены к сонмищу «дважды рожденных».[3 - ...опоясаны священным вервием и сопричислены к сонмищу «дважды рожденных». — Речь идет о древнеиндийском обряде, состоявшем в том, что юношу отводили к духовному наставнику, который опоясывал его шнуром, свитым из трех стеблей священной травы, вручал ему посох и посвящал божествам. Обряд этот, обязательный для трех высших каст, считался вторым рождением юноши, почему эти касты и назывались «дважды рожденными».]

Родом юноши были из прихрамового селения в стране Кошала,[4 - ...в стране Кошала... — Кошала — местность, где был особенно развит культ бога Кришны, так как, по преданию, здесь Кришна сочетался браком с одной из своих супруг, Сатья, дочерью Нагнаджита, царя кошальского.] носившего название «Обитель благоденствующих коров»,[5 - «Обитель благоденствующих коров». — Деревня названа в честь легендарной древней деревни Гокула («стадо коров, коровник»), где, по преданию, провел свои детские годы Кришна.] куда, по велению небожителей, в давние времена перекочевали их предки. Храм и селение были обнесены изгородью из кактусов и деревянной стеной с воротами, обращенными на все четыре страны света,[6 - ...воротами, обращенными на все четыре страны света... — В древней Индии существовал обычай строить храмы с четырьмя входами, посвященными божествам четырех стран света.] у которых некий странствующий созерцатель сущего, служитель богини Речи,[7 - Богиня Речи — Сарасвати (богатая водами); — жена Брахмы, первоначально олицетворение реки, впоследствии богиня мудрости и красноречия, покровительница наук и искусств.] в жизни не промолвивший несправедного слова и кормившийся даяниями селян, произнес благословительную молитву: «Пусть столбы и поперечные брусья ворот вечно источают мед и масло».

Дружба обоих юношей зиждилась на разности того, что зовется сущностью человека, и на стремлении каждого из них восполнить свою сущность сущностью другого. Ведь

всякое воплощение приводит к обособленности, обособленность — к различию, различие — к сравнению, сравнение — к беспокойству, беспокойство — к изумлению, изумление же — к восхищению, а восхищение — к потребности воссоединиться. «Этад ваи тад — сие есть то». Этому учению тем более подвластна юность — возраст, когда глина жизни еще мягка и ощущение собственной сути еще не застыло, еще не привело к отщепенчеству, к полной огражденности неповторимого «я».

Юный Шридаман был торговец и сын торговца, а Нанда — кузнец и пастух, ибо отец его Гарга добывал себе пропитание молотом и мехами из птичьих крыл, а также тем, что разводил в загонах и на пастбищах рогатый скот. Что до родителя Шридамана, по имени Бхавабхути, то он, по мужской линии, вел свой род от брахманов,[8 - Брахманы. — В древней и феодальной Индии существовали четыре основные касты: брахманы — жрецы, кшатрии — воины, вайшьи — земледельцы, скотоводы, иногда — купцы, и шудры — ремесленники, считавшиеся низшей кастой и, по предположениям историков, происходившие от аборигенов страны, поработанных завоевателями, ариями.] толкователей священных Вед;[9 - ...толкователей священных Вед... — Веды (знание) — древнеиндийские священные книги.] Гарге же и его сыну Нанде ничего подобного и не снилось. Однако и последние не были шудрами и, несмотря на свои козьи носы, безусловно принадлежали к человеческому обществу.[10 - ...последние... безусловно принадлежали к человеческому обществу. — В древней Индии низшие касты смешанного происхождения — чандала, парии и другие — считались презренными и стоящими вне человеческого общества.] Впрочем, для Шридамана, да и для Бхавабхути тоже, брахманство давно отошло в прошлое, ибо отец Бхавабхути сознательно остановился на жизненной ступени «отца семейства»,[11 - ...отец... сознательно остановился на жизненной ступени «отца семейства»... — Каждый брахман должен был пройти в своей жизни четыре стадии: брахмачари — ученика аскета, грихастха — отца семейства, ванаваши — пустытника и саиньяси — аскета.] непосредственно следующей за ступенью ученичества, даже и не помышляя о том, чтобы стать отшельником или подвижником. Он пренебрег существованием, всецело зависящим от добродетельных даяний верующих, в благодарность за мудрое толкование священных Вед; или же просто не мог прокормиться на благочестивые лепты единоверцев и затеял почтенную торговлю щепенкой, камфарой, сандалом, шелковыми и хлопковыми тканями. Посему и сын его Бхавабхути, рожденный им, дабы было с кем совершать обрядовые жертвоприношения, также сделался вайшьей, то есть торговцем, в прихрамовом селении «Обитель благоденствующих коров»; по стопам деда пошел и сын его сына — Шридаман, хотя подростком он обучался у некоего гуру[12 - Гуру — духовный наставник, учитель.] грамматике, астрономии и основам созерцания сущего.

Не то Нанда, сын Гарги. Его карма[13 - Карма — в индийской религии и философии итог добрых и злых деяний в жизни человека, определяющий его судьбу в дальнейших перевоплощениях.] была иною, и никогда он не предавался умствованиям, ибо его к тому не поощряли ни семейные предания, ни кровь, текшая в его жилах, и был он таким, каким родился на свет, — сыном народа, веселым и простодушным, воплощением бога Кришны в человеческом образе, как Кришна, темнокожий и черноволосый[14 - ...как Кришна — темнокожий и черноволосый. — В древнеиндийской мифологии Кришна — земное воплощение бога Вишну, принявшего человеческий облик, чтобы спасти людей от злых демонов, асуров. Имя свое Кришна (Черный); получил за темный цвет тела, что свидетельствует о его происхождении от доведийских божеств.] и даже с завитком на груди — «завитком счастливого тельца». Ремесло кузнеца сделало сильными его руки, на пользу ему пошло и то, что он пас отцовские стада. Тело его, которое он любил умащать горчичным маслом и украшать венками из полевых цветов и золотыми цепями и обручами, было стройно и красиво, как и его безбородое лицо, которое ничуть не портили ни козий нос, ни слишком пухлые губы, а черные глаза его постоянно смеялись.

Все это нравилось Шридаману при сравнении с собственным обликом. Его кожа на лице и на теле была на несколько оттенков светлее Нандовой, да и чертами он сильно от него отличался: переносье тонкое, как лезвие ножа, зеницы и веки нежные, щеки, окаймленные веерообразной шелковистой бородкой. Мягко было и его тело, не закаленное трудом кузнеца и скотовода, скорее брахманское или купеческое тело, с грудью узкой и немного впалой, с жирком на животе, хотя, в общем, почти безупречное — со стройными коленями и тонкими ступнями. Словом, тело Шридамана являлось всего лишь принадлежностью, так сказать, придатком главного — его благородной, умудренной науками головы, тогда как у Нанды, напротив, главным было тело, а голова служила ему только милым придатком. Вкупе же оба они были, как Шива, [15 - ...Шива, когда он двоится и... бородатым аскетом, лежит как мертвый у ног богини... — Шива — одно из верховных божеств древних индийцев, член троицы, состоящей из Брахмы — начало творческое, Шивы — начало гибели и разрушения и Вишну (Деятельный) — начало охранительное, олицетворение животворящих сил природы. Иногда бог Шива является в облике подвижника и тогда получает имя Махайоги («великий аскет-мудрец»)] когда он двоится и в одном воплощении, бородатым аскетом, лежит как мертвый у ног богини, в другом — глядя на нее, цветущим юношей расправляет плечи и весь устремляется к ней.

Но, будучи не единым, как Шива, который есть смерть и жизнь, преходящий мир и вечность в лоне Матери, а двумя отдельными существами здесь, на земле, они были как две статуи, поставленные друг перед другом для сравнения. Каждый из них, наскучивши своей сутью (хотя оба знали, что все на свете состоит из одних недостатков), любовался другим из-за того, что тот так на него не похож. Шридаман с его нежным ртом, прятавшимся в бороде, находил удовольствие в созерцании кришноподобного губастого Нанды, Нанда же, отчасти этим польщенный, но еще больше оттого, что светлая кожа Шридамана, благородство его головы и правильность речи (как известно, всегда идущая рука об руку с мудростью и познанием сущего, и спокон веков с ними слитая) производили на него неотразимое впечатление, не знал ничего лучшего, как водить дружбу с Шридаманом, почему они и стали неразлучны. Правда, в их взаимной склонности была и толика насмешки — так, Нанда исподтишка потешался над бледным жирком, тонким носом и правильной речью Шридамана, а Шридаман — над козым носом и милой простонародностью Нанды. Но такого рода потайная насмешка обычно приводит к сравнению и беспокойству, а это дань осознанной собственной сути, отнюдь не наносящая урона внушенному нам Майей стремлению воссоединиться с несходным.

II

И вот в чудную вешнюю пору, когда воздух весь звенит от птичьего гомона, Нанда со Шридаманом пешком отправились в путь-дорогу, каждый по своим надобностям. Нанде его отец Гарга поручил купить железо у людей низшей касты, искусных в добывании одного из болотной руды и носивших на теле одну лишь камышовую набедренную повязку, с которыми Нанда отлично умел обходиться. Эти люди жили в плетеных хижинах, к западу от родины наших друзей, в северной части многолюдного Индрапрастха, [16 - Индрапрастха (обитель Индры) — древнее название современного города Дели.] на реке Джамна, куда дела призывали и Шридамана. Бхавабхути поручил сыну у тамошнего купца, своего приятеля, брахмана, как и он, не переступившего ступени «отца семейства», выменять как можно выгоднее тюк пестрых тканей, сотканных из тонких нитей женщинами в «Обители благоденствующих коров», на ступки для риса и особо прочный трут, в которых стали нуждаться жители его родного селения.

Юноши шли день и еще полдня, то по людным проселкам, то глухими лесными тропами,

каждый неся свою кладь на спине: Нанда — ящик с бетелем, драгоценными раковинами[17 - ...ящик с... драгоценными раковинами... — каури, маленькие морские раковины, с древнейших времен служившие в Индии мелкой разменной монетой.] и намазанными на лубок румянами, которыми красят ступни и подошвы, чтобы всем этим добром расплатиться за руду с людьми низшей касты, Шридаман же — ткани, зашитые в шкуру косули (Нанда из дружбы время от времени взваливал на себя и его поклажу), покуда не пришли к месту омовений Кали-Вседержительницы,[18 - Кали (Черная) — супруга Шивы, богиня смерти и разрушения, которой в древности приносились человеческие жертвы. Известна также под именем Парвати (Гордая), Бхайрави (Страшная) и др.] Матери всех миров и созданий, возлюбленной Вишну, у речки Золотая Муха, что резово, словно выпущенная на волю кобылка, вырывается из горных недр, но вскоре замедляет свой бег, чтобы в священном месте[19 - ...в сугубо священном месте... — Место впадения реки Джамны (древняя Ямуна) в Ганг считается в Индии священным.] не приметно слиться с водами Джамны, которая в свою очередь, уже в сугубо священном месте, впадает в вечный Ганг, чьи устья впадают в самое море. Многочисленные и прославленные места омовений, где очищаются от скверны и, зачерпнув воды жизни или же окунувшись в речную глубину, приемлют второе рождение, густо окаймляют берега и устья Ганга, а также места впадения в сей земной млечный путь[20 - Земной млечный путь — один из эпитетов реки Ганга. По преданию, она течет не только на земле, но и на небесах и в подземном царстве.] других рек или их притоков, как, к примеру, влилась в воды Джамны дочурка снежных вершин, Золотая Муха; везде там, в местах омовений и воссоединений, заботливо приспособленных для священных таинств и набожного жертвоприношения, устроены священные ступени, дабы верующий не шлепал неподобающим святости места образом по зарослям лотоса и прибрежного камыша, а чинно спускался к реке, чтобы, ничем не отвлекаясь, благоговейно испить глоток животворной воды или же окропить себя ею.

Место омовения, на которое набрели друзья, не было ни знаменито, ни слишком взыскано добротными даяниями; о его чудотворной силе не возвещали умудренные знанием, здесь не толклись знатные и ничтожные (в разные, конечно, часы для тех и для других). То был тихий, скромный приют благочестия, расположенный даже и не у слияния рек, а просто на берегу Золотой Мухи, у подножья холма, где высился небольшой храм с горбатой башней, но не каменный, а деревянный и уже несколько обветшавший, хотя и изобилующий тонкой резьбой, — святилище Владычицы всех радостей и упований.[21 - Владычица всех радостей и упований — один из эпитетов богини Кали.] Ступени, что вели к месту омовения, тоже были деревянные и уже тронутые временем, но, впрочем, вполне пригодные для того, чтобы чинно спускаться по ним к реке.

Молодые люди громко изъявили свою радость, завидев этот тихий уголок, располагавший к благочестивым мыслям и в то же время суливший им желанный отдых в тени и прохладе. К полудню стало очень жарко. Весна до времени грозила тяжелым летним зноем, а высокий берег у маленького храма был покрыт обильной порослью цветущих манговых и тиковых деревьев, магнолий, тамарисков, пальм, сень которых так и манила поесть и отдохнуть. Друзья поспешили выполнить священные обряды, насколько то позволяли обстоятельства. Здесь не было жреца, который дал бы им елея или прозрачного масла для окропления изваяний, символизирующих Шиву лингов,[22 - ... символизирующих Шиву лингов. — Линга, или лингам — у древних индийцев религиозная фаллическая эмблема, символ бога Шивы; представляет собой каменный или глиняный столб конусообразной формы.] стоявших на небольшой террасе перед храмом. Но они зачерпнули речной воды найденным на ступенях уполовником и, бормоча предписанное, совершили благое деяние. Затем, молитвенно сложив руки, сошли в зеленое лоно, испили воды, омылись, соблюдая обряд, окропили себя, окунулись, поплескались еще немного, ради удовольствия, а не с благочестивыми целями, и вышли на облюбованную лужайку в тени деревьев, во всех своих членах ощущая благодатное воссоединение.

Здесь они по-братски разделили трапезу, хотя каждый мог бы есть свое, дорожные припасы были у них почти одинаковы. Но Нанда, разломив ячменную лепешку, протягивал половину Шридаману, говоря: «Возьми, мой добрый друг», — Шридаман же, разрезав плод, с теми же словами протягивал половину Нанде. Шридаман за едой сидел бочком, на еще свежей неопаленной траве, Нанда несколько по-простонародному, на корточках, высоко подняв колени, что показалось бы утомительным всякому, не унаследовавшему этой привычки от своих предков. Они приняли эти позы бездумно и бессознательно. Ведь обрати они внимание на то, кто как сидит, Шридаман, влюбленный в народную самобытность, присел бы на корточки, подняв колени, Нанда же — из прямо противоположного побуждения — уселся бы бочком. На его черных, прямых, еще влажных волосах была надета ермолка, на теле — только набедренная повязка из хлопчатой ткани да множество украшений — серьги в ушах, на руках обручи и запястья, на шее — жемчужная цепь, скрепленная золотыми застежками, в обрамлении которой на его груди был виден «завиток счастливого тельца». Шридаман замотал себе голову белой холстиной, белая рубаха с короткими рукавами спускалась на своего рода подобие широких шаровар; в вырезе рубахи у него виднелась висящая на тоненькой цепочке ладанка с амулетом. На лбу, у обоих юношей белой краской был выведен знак исповедуемого ими вероучения.[23 - ...у обоих юношей белой краской был выведен знак исповедуемого ими вероучения. — Имеется в виду знак касты или секты, изображаемый на лбу, на руках, на груди и т. п.]

Покончив с трапезой и убрав недоеденное, они предались непринужденной беседе. Так красиво было здесь, что ни раджи, ни великие цари не пожелали бы себе ничего лучшего. Сквозь деревья с тихо колеблющейся листвой и кистями соцветий, сквозь высокие стволы бамбука и каламуса на склоне холма мерцала вода, набегавшая на нижние ступени спуска. С ветвей, прихотливо обвитых лианами, казалось, свисали зеленые гирлянды. Чирикание и щебетание невидимых птиц мешалось с жужжаньем золотых пчел, носившихся от цветка к цветку и вдруг на время исчезающих в его чашечке. Воздух пах теплом и прохладой растений, жасмином, плодами тала, сандаловым деревом, и еще пахло горчичным маслом, которым Нанда сразу же после омовения вновь умастил свое тело.

— Здесь ведь словно за шестью валами: глада и жажды, старости и смерти, горя и ослепления, — сказал Шридаман. — Такая умиротворенность разлита везде. Кажется, будто из неустанного коловорота жизни ты перенесся в спокойную ее сердцевину и тебе можно перевести дыхание. Слышишь, как внятно! Я употребляю слово «внятно», ибо оно восходит к действительному «внимать», а толчок к этому действию дает только тишина. Тишина заставляет прислушиваться ко всему, что не совсем тихо в ней, и еще к тому, что она лепечет во сне и что мы слушаем — тоже как во сне.

— Истинно твое слово, — отвечал Нанда. — В гомоне базара нечему внимать; внятно, как ты и говоришь, только тишина, в которой то одному, то другому внемлет твой слух. Совсем тиха и до краев наполнена молчанием лишь нирвана,[24 - Нирвана (исчезновение, искупление) — согласно учению буддизма, блаженство небытия, высшее, совершенное состояние человека, освобождение души от оков индивидуальности и растворение «я» в мировой душе.] и внятно ей не назовешь.

— Ну и ну! — воскликнул Шридаман и поневоле рассмеялся. — Никому еще не взбрело на ум назвать нирвану внятно. Ты первый на это отважился, хотя и прибегнув к отрицательной форме, то есть говоря, что такой ее назвать нельзя, да еще выискал из всех отрицаний, мыслимых в применении к нирване (ведь о ней иначе как отрицаниями и говорить-то нельзя), самое что ни на есть смешное. Ты мастер говорить хитро, — если словом «хитро» можно определить нечто, одновременно правильное и смешное. Мне это

очень по душе, потому что у меня иной раз поджилки трясутся, когда я такое слышу, точь-в-точь как если человек плачет. Из этого видно, сколь родственны между собою смех и плач и что мы заблуждаемся, когда устанавливаем различие между весельем и страданием, одному говоря «да», другому «нет», тогда как на самом деле и то и другое вместе должно было бы именоваться либо плохим, либо хорошим. Но вот связи между плачем и смехом прежде всего следовало бы сказать «да» и еще возвысить ее над всеми волнениями жизни. Для этой связи придумано слово «растроганность», означающее радостное сострадание, и то, что у меня поджилки трясутся и это так похоже на плач, происходит именно от растроганности и еще оттого, что мне жалко тебя с твоей хитростью.

— Почему же тебе меня жалко? — любопытно спросил Нанда.

— Потому что ты истинное дитя сансара[25 - Сансара (странствование, течение жизни, бытие) — в индийской религии особый мир, в котором происходит перерождение всего живого, странствия души, вечно переходящей из одной земной формы в другую.] и самоудовлетворенности жизни, — отвечал Шридаман, — и отнюдь не принадлежишь к тем душам, которые непременно стремятся вынырнуть из страшного океана плача и смеха — как лотосы поднимаются над водой, открывая солнцу свои чашечки. Тебе хорошо в глубинах, кишасей образами и личинами, которые, тесно переплетаясь, меняют свой облик, и оттого, что для тебя это хорошо, хорошо делается и тому, кто на тебя смотрит. Но вот теперь тебе взбрело на ум, и никак из тебя этого не выбьешь, распространяться о нирване и отпускать замечания касательно ее определения через отрицание, вроде того что, она, мол, невнятна, что уже само по себе смешно до слез, или, если прибегнуть к нарочно для этого созданному слову, трогательно, так как тут уж начинаешь тебя жалеть и тревожиться, как бы ты не утратил своего благодетельного благоденствия.

— Погоди-ка, — отвечал Нанда. — Я что-то тебя не пойму. Если тебе жаль, что я подпал под власть ослепления сансара и что мне чужды повадки лотоса, это еще куда ни шло. Но если ты меня жалеешь из-за того, что и я тоже по мере своих сил хочу малость поразмыслить о нирване, то это уже обидно. Скажу только, что и мне жаль тебя.

— А почему, скажи на милость, теперь ты в свою очередь меня жалеешь? — поинтересовался Шридаман.

— Потому что ты читал Веды и кое-что усвоил из познания сущего, — отвечал Нанда, — и при этом еще легче и охотнее поддаешься под власть ослепления, чем тот, кто этого не делал. Потому-то у меня мурашки бегут по коже от растроганности, и я испытываю к тебе радостное сострадание. Ведь где хоть чуть-чуть внятно, как в этом уголке например, там ты позволяешь мнимой умиротворенности вмиг ослепить тебя, в мечтах уносишься за пределы шести валов глада и жажды и воображаешь себя в сердцевине коловорота жизни. А между тем эта внятность и то, что в тишине можно столь многому внять, как раз и есть признак того, что коловорот здесь происходит еще куда более бурно и твое ощущение умиротворенности всего-навсего воображение. Эти птицы воркуют лишь перед тем, как предаться любви, эти пчелы, эти стрекозы и крылатые жуки носятся в воздухе, гонимые голодом, в траве все приглушенно гудит от тысячекратной борьбы за существование, и вон те лианы, что так грациозно обвивают стволы деревьев, стремятся лишь высосать из них сок и дыхание жизни, чтобы самим сделаться жирнее и жизнеспособнее. Вот истинное познание сущего.

— Я и сам это знаю, — отвечал Шридаман, — и не поддаюсь ослеплению или поддаюсь лишь на миг и по доброй воле. Ибо существует не только истина и разумное познание, но еще и сравнительное наблюдение человеческого сердца, а сердце умеет читать письмена

явлений не по их первому, трезвому смыслу, но еще и по второму, более высокому, умеет использовать эти письма как средство прозревать чистое и духовное. Как бы ты пришел к ощущению мира и счастья душевного покоя, если бы образ Майи, которая сама по себе, конечно, отнюдь не покой и счастье, не служил тебе путеводной нитью? Человек благословен тем, что ему дозволено через действительность прозреть истину, а наша речь для этого дозволения, для этого дара, вычеканила слово «поэзия».

— Ах, ты вот как полагаешь, — засмеялся Нанда. — Если тебя послушать, то получается, что поэзия — глупость, вновь наступившая после просветления разума, и при виде глупца возникает вопрос, что он — еще глуп или глуп вторичной глупостью? Надо сказать, что вы, умники, немало затрудняете жизнь нашему брату. Не успеешь подумать, что самое важное набраться разума, как уже узнаешь, что все дело в том, чтобы снова стать глупцом. Лучше бы вы нам не показывали этой новой, более высокой ступени, чтобы не отнять у нас смелости взобраться на предыдущую.

— От меня ты не слыхал, что нужно набираться разума. Давай-ка лучше растянемся на нежной зелени травы и, заморив червячка, будем сквозь ветви глядеть на небо. Это удивительное познание зрением; лежишь на спине, что, собственно, не понуждает тебя поднимать глаза, но взор твой волей-неволей устремлен кверху, и ты смотришь на небо, как смотрит на него сама мать-земля.

— Сья, да будет так, — проговорил Нанда.

— Сьят! — поправил его Шридаман в согласии с законом чистой и правильной речи. И Нанда посмеялся над собою и над ним.

— Сьят! — передразнил он его. — Эх ты, буквоед, оставь уж мне мою народную речь! Если я заговорю на санскрите,[26 - Санскрит (обработанный, совершенный) — литературный язык древней и средневековой Индии.] это будет как сопенье молодой коровы, которой проделали в нос веревку.

Теперь уже Шридаман от души посмеялся над этим простодушным сравнением; затем оба они растянулись на траве и стали смотреть меж ветвей и тихонько покачивающихся крупных, как кисти, соцветий в синеву Вишны, пучками листьев отмахиваясь от красно-белых мух, называемых «любимцами Индры», которые вились над ними. Нанда лег на спину не потому, что так уж его тянуло наподобие матери-земли созерцать небо, а просто из уступчивости. Впрочем, долго он не выдержал и вскоре с цветком в зубах уже сидел на корточках, как подобает дравиду.[27 - Дравиды — группа народов, населяющих южную Индию. Некогда они составляли основное население Индии и создали высокую культуру, но в III тысячелетии до н. э. были оттеснены кочевыми скотоводческими племенами, говорившими на языках индийской группы индоевропейской семьи.]

— Ну и назойлив же этот любимец Индры, — заметил он, говоря о бесчисленных мухах, жужжавших вокруг них, как о едином существе. — Падок, видно, на мое горчичное масло. А может быть, его покровитель, «едущий на слоне», [28 - ...«едущий на слоне», «господин над молниями» и «великий бог» — эпитеты бога неба Индры.] господин над молниями и великий бог, повелел ему мучить нас в наказание — ты сам знаешь за что.

— Тебя это не может коснуться, — возразил Шридаман, — ты ведь под деревом был за то, чтобы осенний праздник благодарения Индры свершался на старом или, лучше сказать, на новом ладе, в соответствии с духовными обычаями и брахманскими ритуалами, и тебе остается только умыть руки в сознании своей невиновности, ибо на совете мы ведь решили иначе и отреклись от служения Индре, чтобы предаться новому, вернее старому, благодарственному служению, больше подобающему нам, сельским

жителям, и более естественному для нашего благочестия, чем вся эта премудрая тарабарщина брахманских церемоний в честь Индры, громовержца, сокрушившего крепости наших предков.

— Как ты говоришь, так оно и есть, — отвечал Нанда, — но у меня все еще тревожно на душе; правда, под деревом я откровенно высказал свое мнение об Индре, но все же я боюсь, что он не захочет вникнуть в такие мелочи и чохом покарает всю «Обитель благоденствующих» за то, что у него отняли его празднество. Вот вдруг людям втемяшилось, что с праздником благодарения Индры что-то не так, по крайней мере для нас, пастухов и землепашцев, и что-де благочестивое упрощение нам сподручнее. Что нам до великого Индры? Понаторевшие в Ведах брахманы под неустанные заклинания приносят ему жертвы. А мы захотели приносить жертвы коровам, лесным пастбищам и горам,[29 - Что нам до великого Индры... мы захотели приносить жертвы коровам, лесным пастбищам и горам... — Намек на одну из легенд о Кришне, который уговорил пастухов отказаться от культа Индры и совершить жертвоприношение горе Говардхан,] — они-де для нас истинные и подходящие божества, мы, дескать, и прежде чтили их, еще до того, как пришел Индра и, оказав предпочтение пришельцам, сокрушил крепости исконных жителей — наших предков; мы толком даже и не знаем, как это делается, но это, мол, все равно всплывет в нашей памяти, вернее, сердце нам подскажет. Мы хотим служить горному пастбищу Пестрая Вершина здесь, поблизости, и отправлять благочестивые обряды, новые лишь постольку, поскольку мы почерпнем их из памяти сердца. Горному пастбищу будем мы приносить в жертву чистых животных и такие даяния, как кислое молоко, цветы, плоды и сырой рис. И еще мы изукрасим венками из осенних цветов стада коров, и пусть они бредут вокруг горы, повернувшись к ней правым боком, и быки пусть режут в ее честь громовым голосом туч, чреватых дождем. Это, мол, и будет наше старо-новое служение горам. А чтобы брахманы тому не воспротивились, будем сзывать их сотнями и кормить, велим принести молоко из всех загонов, пусть наедаются до отвала неснятым молоком и рисом, сваренным в молоке, и они будут довольны. Так многие говорили под деревом, одни с ними соглашались, другие нет. Я поначалу был против служения горам, потому что боюсь и очень почитаю Индру, который сокрушил крепости черных,[30 - ...сокрушил крепости черных. — По преданию, в доисторические времена бог Индра даровал пришлым завоевателям, ариям, победу над уроженцами Индии — темнокожим племенем «дасью».] и безразлично отношусь к воскрешению того, о чем мы ничего толком не знаем. Но ты заговорил чисто и правильно, — под «правильным» я подразумеваю чистоту твоей речи, — настаивая на обновлении празднеств в честь гор, и пренебрег Индрой; тогда и я умолк. Если те, что ходили в школу и кое-чего понабрались из познания сущего, думалось мне, восстали против Индры и ратуют за опрощение, то где уж нам говорить; нам остается только молча надеяться, что великий пришелец и сокрушитель крепостей будет милосерден, не посетует на угощение целой толпы брахманов и не покарает нас засухой или страшными ливнями. Возможно ведь, подумал я еще, что он и сам уже тяготится своим праздником и для разнообразия хочет, чтобы его заменили жертвоприношением горе и шествием коров. Мы, простой народ, с благоговением относились к Индре, но, может, он сам к себе теперь его не испытывает. Я очень радовался обновленному празднику и с удовольствием помогал гнать коров вокруг горы. Но еще раньше, чем ты исправил мою простонародную речь и захотел, чтобы я сказал «съят», мне подумалось, как странно, что ты в правильных, ученых словах ратуешь за простоту.

— Тебе не в чем меня упрекнуть, — отвечал Шридаман, — ибо ты на народный лад заступался за суемудрые ритуалы брахманов, и это радовало тебя, делало тебя счастливым. Но я должен тебе сказать, что еще большее счастье правильными и продуманными словами ратовать за простоту.

Тут они на время замолчали. Шридаман лежал все в том же положении и смотрел вверх, в небо. Нанда, обняв сильными руками поднятые колени, глядел сквозь деревья и кустарник высокого берега на место омовений Кали, Матери.

— Тсс... Силы небе-бесные, — вдруг зашептал Нанда часто-часто и приложил палец к своим толстым губам. — Шридаман, брат мой! Присядь-ка на минутку да погляди! Что ж это там за чудо такое спускается к реке? Открой глаза пошире! Не пожалеешь. Она не видит нас, но мы-то ее видим!

Молодая девушка стояла на укромном месте воссоединения, собираясь приступить к благочестивому обряду. Она оставила на ступенях спуска свое сари и стояла совсем нагая, одетая только в ожерелья, серьги с качающимися подвесками да белую повязку на высоко подобранных пышных волосах. Ослепительна была прелесть ее тела. Все оно, казалось, состояло из обольщений Майи и было обворожительного цвета, не слишком темное, но и не слишком светлого оттенка, скорее напоминавшее позолоченную медь, дивное, точь-в-точь изваянное по замыслу Брахмы,[31 - ...по замыслу Брахмы. — Согласно учению брахманизма, Брахма является творцом вселенной, всеобщей, самодовлеющей душой, а все творения, люди и животные, представляют собой многообразные воплощения этой души.] со сладостно хрупкими плечами ребенка и упоительно выпуклыми бедрами, от которых как бы раздался в ширину ее плоский живот, с девически налитыми бутонами груди и пышным выпуклым задом, сужавшимся кверху и стройно переходившим в нежную узкую спину, чуть вогнувшуюся, когда она подняла свои руки-лианы и сомкнула их на затылке так, что стали видны темнеющие впадинки подмышек. И все же самым поразительным, всего полнее отвечающим замыслам Брахмы, и чему не могла нанести урона даже дурманящая, накрепко приковывающая душу к миру явлений сладостность ее груди, было сочетание этого великолепного зада с узкой, гибкой, как тростинка, эльфической спиной, усиленное и подчеркнутое другим контрастом — между поистине достойной славословий, волнующей линией роскошных бедер и прелестно-хрупким станом над ними. Наверно, не иначе была сложена небесная дева Прамлоча,[32 - Прамлоча — одна из небесных нимф-танцовщиц в свите бога Индры, нередко посылаемых богами для искушения святых подвижников.] которую Индра послал к великому подвижнику Канду,[33 - Канду — в древнеиндийской мифологии отшельник, прославившийся своими аскетическими подвигами и сделавшийся почти равным богам.] дабы подвиг воздержания не сделал его всемогущим и богоравным.

— Нам надо уйти, — приподнявшись, тихо сказал Шридаман, не отрывая глаз от видения. — Не пристало смотреть на нее, когда она нас не видит.

— Отчего же? — шепнул в ответ Нанда. — Мы первые пришли сюда, где все так внятно, и вняли тому, чему здесь было внимать. Какая же на нас вина? Не будем двигаться с места, жестоко было бы подняться с шумом и треском, позволив ей обнаружить, что ее видели, тогда как она никого не видала. Я смотрю с удовольствием. А ты нет? Да у тебя уже глаза покраснели, как если бы ты прочел мне стихи Ригведы.[34 - ...как если бы ты прочел мне стихи Ригведы. — Ригведа, или Веда Гимнов — древнейшая и наиболее важная из всех четырех Вед.]

— Тише, — в свою очередь зашептал Шридаман. — И веди себя как подобает! Это многозначительное, святое явление, и то, что мы подглядываем, простится нам только, если мы будем вести себя достойно и благочестиво.

— Что и говорить, — отвечал Нанда. — Это дело не шуточное, но все же очень приятное! Ты хотел смотреть на небо, лежа на земле, а теперь видишь, что можно и сидя и стоя взирать на небесное.

Они опять приумолкли, сидели и смотрели. Златокожая девушка, как недавно они сами, сложила руки и прошептала молитву, прежде чем совершить обряд воссоединения. Она стояла к ним немного боком, и они могли видеть, что не только ее тело, но и лицо меж качающихся подвесок было прелестно. Носик, губы, брови и удлиненные, словно лепестки лотоса, глаза. Когда девушка слегка повернула голову — так, что они даже испугались: уж не заметила ли она соглядатаев, — друзья вполне убедились, что очарование ее тела ничуть не обесценено, не обворовано некрасивым лицом и что, напротив, чудная ее головка лишь утверждает в правах красоту ее стана.

— Да ведь я ее знаю! — вдруг прошептал Нанда и даже щелкнул пальцами. — Только сейчас я признал ее! Это — Сита, дочь Сумантры из селения Воловий Дол, здесь поблизости. Оттуда она и пришла омыться от скверны, теперь все понятно! Да и как мне не знать Ситы? Ведь я качал ее на качелях до самого солнца.

— Ее... на качелях? — тихо и проникновенно переспросил Шридаман.

— Да еще как, — ответил Нанда. — Качал что было мочи, на глазах у всего народа! Одетую я бы ее тотчас узнал, но поди узнай человека, когда он голый. Да, это Сита из Воловьего Дола! Прошлой весной я был там в гостях у своей тетки, как раз во время праздника Солнца,[35 - Праздник солнца — весеннее празднество в честь бога солнца, сына Брахмы, Сурьи, который изображался обычно в виде юноши на колеснице, запряженной семью изумрудными конями.] и я...

— Потом расскажешь, прошу тебя! — испуганным шепотом перебил его Шридаман. — Великая милость, позволившая нам увидеть ее, может обернуться бедой, если девушка услышит нас. Ни слова больше, а то мы спугнем ее!

— Тогда она сбежит, и ты ее больше не увидишь, а ты ведь еще не нагляделся досыта! — поддразнил его Нанда. Но Шридаман кивнул ему головой, требуя молчания, и оба снова замерли, наблюдая за тем, как совершает обряд омовения Сита из Воловьего Дола. Помолвившись, она положила земной поклон, обратила лицо к небу, затем осторожно вошла в реку, окропилась священной водой, испила ее и, прикрыв волосы ладонью, окунулась до самой макушки, потом еще немного поплескалась, поплавала, ныряя и снова показываясь на поверхности, и, наконец, вышла на сушу, во влажном сиянии своей освеженной красоты. Но милость, осенившая в этом уголке обоих друзей, еще не исчерпалась: после очистительного омовения Сита опустила на ступеньки, чтобы обсушиться; врожденная прелесть ее тела, не ведавшая о соглядатаях, побуждала ее принимать то одно, то другое обольстительное положение, и только, когда и этому времяпровождению пришел конец, она неспешно облачилась в свои одежды, поднялась по лестнице к храму и скрылась из виду.

— Что было, то прошло! — сказал Нанда. — Теперь по крайней мере нам можно говорить и шевелиться. Скучно ведь так долго притворяться, что тебя нет!

— Не понимаю, как ты можешь говорить о скуке! — возразил Шридаман. — Есть ли на свете большее блаженство, чем всецело предаться созерцанию красоты и жить только в ней? Я затаил дыхание и так готов был сидеть все время. Не из страха, что она исчезнет, а из страха испугнуть ее чувство одиночества, над которым я так дрожал и перед которым так святотатственно провинился. Ситой, ты говоришь, зовут ее? Я рад, что это узнал, меня утешает в моем прегрешении, что теперь я хоть про себя могу ее почитать ее

именем. Так ты качал ее на качелях?

— Да, я же сказал тебе, — подтвердил Нанда. — Ее избрали девой Солнца прошлой весной, когда я был в их деревне, и я ее качал во славу Солнца, до самого неба, так что с высоты едва было слышно, как она взвизгивает! А может, ее голос терялся в общем визге.

— Да, на такие дела ты мастер, — сказал Шридаман. — Впрочем, ты на все руки мастер! За сильные руки тебя и выбрали ее качальщиком. Я прямо вижу, как она взлетает до самого синего неба. Крылатый образ моего воображения сливается с недвижимым и склонившимся в молитвенном поклоне образом, который мы подсмотрели.

— Что ж! У нее есть причина молиться и каяться, — перебил его Нанда, — не в дурном поведении, конечно, Сита девушка добропорядочная, а во внешнем своем облици, впрочем, за него она не отвечает, хотя, строго говоря, она в нем все-таки повинна. Говорят, такое благообразие подобно оковам. Почему, собственно, оковам? Да потому, что она приковывает нас к миру вожделий и радостей, человек, который ее увидел, еще сильнее запутывается в тенёта сансара и теряет свой светлый разум, у него все равно что дух захватило. Таково воздействие красоты, хоть и непреднамеренное. Но вот то, что девушка, удлинняя себе глаза, придает им форму лепестка лотоса, уже говорит о преднамеренности. Можно, конечно, сказать: «Благообразие дано ей свыше, она не по своей воле восприняла его, так зачем же ей молиться, в чем каяться?» Но так ли уж велика разница между «получить» и «воспринять»? Сита сама это знает, а потому и кается в том, что налагает на нас оковы. Но ведь благообразие-то она приняла не просто, как принимают то, что тебе дают, а с полной готовностью, и тут не поможет никакой очистительный обряд. Она вышла из воды все с тем же прельстительным задом.

— Не говори так грубо о столь нежном и светлом явлении, — осадил его Шридаман. — Хотя ты и усвоил кое-что из учения о сущем, но выражаешься, — позволь тебе заметить, — по-мужицки; и из того, как ты все повернул, явствует, что ты был недостойн этого явления. Ведь в нашем случае все сводилось к тому и от того зависело, оказались ли мы его достойными и с чистой ли душой ему внимали.

Нанда смиренно выслушал порицание.

— Так научи же меня, дау-джи, — сказал он Шридаману, величая его «старшим братом». — Скажи, в каком душевном состоянии ты внимал этому явлению и в каком тем самым надлежало внимать ему мне?

— Видишь ли! — сказал Шридаман. — Каждому созданию дано двоякое бытие: одно — для себя, другое — для стороннего глаза. Все созданное существует и воспринимается со стороны, оно — душа и оно же образ, и потому грешно подпадать под впечатление образа, не вспоминая о душе. Надо научиться преодолевать омерзение, которое внушает нам образ шелудивого нищего. Нельзя нам основываться только на том, как он воздействовал на наше зрение и другие чувства. Ибо воздействие — еще не действительность; чтобы постичь явление, должно, так сказать, «обойти его»; этого вправе ждать от тебя любое явление, ибо оно больше, чем только явление, за ним — его сущность, его душа, которую надо найти и опознать. И если не следует задерживаться на чувстве омерзения, которое в нас возбуждает жалкий образ нищеты, то тем паче нельзя довольствоваться восторгом, который нам внушает образ красоты, ибо и она больше, чем только образ, хотя чувства здесь сильнее искушают нас принять ее лишь за таковой, чем в случае, когда мы испытываем омерзение. Красота, на первый взгляд, несколько не взывает к нашей совести и к проникновению в ее душу, к чему в своей убогости как-никак взывает образ нищего. И все же, любуясь красотой и не вникая в ее сущность, мы

грешим и перед нею и, думается мне, тем более усугубляем свой грех, когда мы ее видим, она же не видит нас. Знай же, Нанда, для меня истинным благодеянием было, что ты смог назвать имя девушки, за которой мы подсматривали, — Сита, дочь Сумантры из Воловьего Дола, так я хоть что-то узнал о ней, кроме того, что увидел, ибо имя — часть человеческой сути, часть души. А как я был счастлив услышать от тебя, что она девушка благонравная; ведь это и вправду значило «обойти ее образ» и заглянуть к ней в душу. И далее: это ведь только обычай, лишь подражание местным нравам, нисколько не идущее в ущерб благонравию, если она удлиняет себе разрез глаз, придавая им сходство с лепестками лотоса, и вдобавок чуть-чуть подводит ресницы, — конечно же, она в своей невинности просто подчиняется обычаям и нравам предков. Красота ведь тоже выполняет свой долг перед образом, в какой она воплотилась, и не исключено, что, ревностно его выполняя, она поощряет стремление проникнуть в ее сущность. И мне мило представлять себе, что у нее почтенный отец, я имею в виду Сумантру, и хлопотливая мать и что они взрастили ее добронравной; я словно вижу, как она мелет зерно, варит кашу в очаге или сучит тонкую шерстяную нить. Не потому ли всем своим сердцем, повинном в соглядатайстве, за видимым образом девушки я стремлюсь разглядеть человека, ее сокровенную суть.

— Тебя-то я понимаю, — отвечал Нанда. — Но не забудь, что у меня это желание не может быть так уж сильно, ведь я качал ее до самого солнца и успел немножко узнать ее как человека.

— И даже слишком, — перебил его Шридаман с заметной дрожью в голосе. — Очень даже слишком! Потому что близость, которой ты сподобился — по праву или нет, — этот вопрос мы оставим в стороне, ведь тебя выбрали в качальщики за силу твоих рук и тела, а никак не за голову и способность мыслить, — эта близость, видно, так притупила твое зрение, что ты в ней увидел лишь единичное создание, а не высший смысл, вложенный в ее образ, иначе ты не отозвался бы так грубо о том воплощении, которое она приняла. Разве ты не знаешь, что в каждом женском обличье, будь то ребенок, дева, мать или старица, таится Она сама, Всепорождающая, Всекормящая Шакти, [36 - Шакти (сила, могущество) — женские божества, супруги богов Брахмы, Вишну, Шивы, олицетворение производительных и питающих сил природы.] — великая богиня, из лона которой все приходит и в лоно которой все отыдет? Не знаешь, что в каждом явлении, отмеченном знаком богини, мы чтим Ее одну, Ей одной дивимся? Она явилась нам здесь, на берегу Золотой Мухи, в самом прельстительном своем воплощении — так как же нам было не восхититься ее самооткровением в преходящем образе? Недаром же, как я и сам замечаю, у меня дрожит от волнения голос, что, впрочем, отчасти объясняется и тем, что я возмущен грубостью твоей речи.

— Да у тебя даже щеки и лоб покраснели, словно ты обгорел на солнце, — сказал Нанда, — а голос, хоть он и дрожит, стал полновочувственнее, чем обычно. Впрочем, могу тебя заверить, что и я на свой лад был очень даже взволнован увиденным.

— Но тогда я не пойму, — заметил Шридаман, — как мог ты говорить о ней столь небрежительно и ставить ей в укор красоту, которая заманивает в тенета любого, кто ее видит, лишив его последних признаков сознания. Ведь это значит, что ты смотришь на вещи с непростительной односторонностью и ничего не смыслишь в истинной, целостной сущности Той, что явилась нам в столь сладостном обличье. Ибо она — все, а не только одно: жизнь и смерть, безумие и мудрость, колдунья и избавительница. Разве ты этого не знаешь? Или знаешь только, что она морочит и завораживает всех и вся, и забываешь, что она выводит людей из мрака одержимости, чтобы привести их к познанию истины? Тогда ты знаешь очень мало и не постиг тайны, впрочем не так-то легко постижимой, а именно: что опьянение, в которое ввергает нас богиня, есть вместе с тем и восторг, устремляющий нас к высшей истине и свободе. Ибо только оно сковывает

и дарит свободой, только восторг воссоединяет чувственную красоту с величием духа.

Черные глаза Нанды увлажнились, он ведь обладал чувствительным сердцем и не мог слушать метафизические рассуждения без того, чтобы не всплакнуть, тем паче теперь, когда обычно тонкий голос Шридамана вдруг стал полнозвучным и выразительным. Итак, он, сквозь слезы, зашмыгал своим козым носом и сказал:

— До чего торжественно ты сегодня говоришь, дау-джи! На моей памяти ты никогда еще так не говорил, прямо за душу берет. Мне бы, собственно, следовало хотеть, чтобы ты замолчал, именно потому, что это берет меня за душу. Но нет, прошу тебя, говори еще о духе, и об оковах, и о Ней, Всеобъемлющей!

— Ты понял теперь ее сложную суть, — все так же восторженно продолжал Шридаман, — понял, что Она порождает не только дурман, но и мудрость, и если мои слова так живо трогают тебя, то лишь потому, что Она — владычица полноводной Речи, берущей свой исток в премудрости Брахмы. В этой двойственности мы познаем ее, Великую, ибо Она жестокосердна, темна, вселяет в нас ужас; Она пьет из дымящейся чаши кровь всех созданий, и вместе с тем Она же благосклонная сострадалица, источник всего живого, любвеобильно покоящая у своих сосцов все порожденное ею. Она — великая Майя Вишну, Она держит в объятиях его, спящего в ней. Мы же спим и грезим в нем. Множество рек впадает в вечные воды Ганга, а Ганг впадает в море. Так впадаем мы в божественные грезы Вишну о преходящем мире, они же впадают в Море извечной Матери. Знай, Нанда, сегодня, придя к месту священного омовения, мы пришли к истоку сна нашей жизни, и тут явилась нам в прельстительнейшем облике Она, Всесозидающая и Всепоглощающая,[37 - Всесозидающая и Всепоглощающая — эпитеты богини Кали, указывающие на двойственный характер ее культа Дурга (Недоступная) — одно из имен богини Кали] в чьем лоне мы омылись, чтобы нас обморочить и вдохновить — надо думать, в награду за то, что мы окропили водой ее плодоносное чрево. Линга и йони[38 - Йони — эмблема плодородия, женского плодоносящего начала, представляющая собой горизонтальный плоский камень, через который проходит Столб лингама.] — нет более великого знака и нет более великого часа жизни, нежели час, когда суженый обходит свадебный костер со своею Шакти, и жрец соединяет их руки цветочной цепью, и жених говорит: «Я воспринял ее!», получая невесту из рук родителей, и еще произносит царственное слово: «Это я, это — ты, я — небо, ты — земля, я — лад песни, ты — ее слово, вместе пройдем одной дорогой!» Когда они празднуют встречу, они — не люди больше, не он и не она, а высокая чета, он — Шива, она — Дурга, великая богиня, и их речи — как бред, и не их это речи, а лепет из темных глубин вожделения, и они умирают для лучшей жизни в безмерном счастье объятий. Это и есть тот священный час, окунающий нас в море познания и избавляющий от лживой обособленности нашего Я в лоне Матери. Ибо как красота и дух сливаются воедино во вдохновении, так смерть и жизнь воссоединяются в любви.

Нанда был совсем покорен этим метафизическим красноречием.

— Нет, — сказал он, качая головой, и слезы покатались у него из глаз, — до чего ж благосклонна к тебе богиня Речи и до чего щедро она тебя одарила премудростью Брахмы, просто сердце надрывается, а все хочется слушать и слушать. Если бы я мог сказать и спеть хоть пятую часть того, что измыслила твоя голова, я бы любил и чтил каждую жилку своего тела. Вот почему ты так нужен мне, старший брат! То, чего не дано мне, дано тебе, а ты мой друг, и твое начинает мне казаться моим. Ведь как твой друг и товарищ я имею в тебе свою часть, я тоже чуть-чуть Шридаман, а без тебя был бы только Нандой, чего мне, по правде сказать, маловато! Говорю тебе прямо: я ни на миг не пережил бы разлуки с тобою, а уж лучше попросил бы людей сложить костер и сжечь меня. Вот что я хотел тебе сказать! Возьми хоть это, прежде чем мы тронемся в путь.

И он стал рыться в своем дорожном скарбе смуглыми руками в кольцах и запястьях и извлек оттуда пучок бетеля, который жуют после еды, чтобы приятно пахло во рту. Отвернув заплаканное лицо, он протянул бетель Шридаману, ибо бетелем угощают друг друга при скреплении договора дружбы.

IV

Итак, они пошли дальше, а потом на время разошлись, ибо у каждого были свои дела; достигнув изобилующей парусами реки Джамны и увидев на горизонте очертания Курукшетры,[39 - Курукшेत्रа («поле Куру») — издавна почитавшаяся священной местность между городами Дели и Амбалой, где, по преданию, происходила легендарная битва, описанная в «Махабхарате», а также разыгрывались многие исторические сражения, решавшие судьбы Индии.] Шридаман свернул на широкую дорогу, запруженную повозками и волами, чтобы затем, в толчее оживленных городских улиц, разыскать дом человека, у которого должен был купить рис и трут. Нанда же пошел дальше, узкою тропой, ответвлявшейся от проезжей дороги к хижинам, где жили люди низшей касты, — приобрести у них железа для кузни своего отца. При расставании друзья благословили друг друга и условились через три дня, в назначенный час, снова встретиться на этой развилке, чтобы, когда с делами будет покончено, вместе, как пришли сюда, вернуться в родное селение.

После того как трижды взошло солнце, Нанда, подъехавший на сером ослике, которого он тоже приобрел у людей низшей касты и навьючил железом, еще долго дождался в условленном месте, так как Шридаман запаздывал; когда же он со своим тюком наконец показался на широкой дороге, шаги его были медленны, он волочил ноги, его щеки, окаймленные шелковистой веерообразной бородкой, ввалились, а в глазах стояла печаль. Он не выказал радости при встрече со своим спутником, и даже когда Нанда, спеша освободить его от ноши, взвалил и его тюк на ослика, остался таким же хмурым и печальным, каким пришел, и шагал рядом с другом, не говоря ничего, кроме «да, да», даже если следовало сказать «нет, нет»; а когда уместнее было бы «да, да», он вдруг начинал твердить «нет, нет», — к примеру, отказываясь подкрепиться пищей, — и на удивленные расспросы Нанды отвечал, что не может и не хочет есть и вдобавок лишился сна.

Все указывало на то, что он болен, и лишь на вторую ночь пути, под звездным небом, когда озабоченному Нанде удалось немного разговорить его, он не только подтвердил, что это так, но глухим голосом добавил, что недуг его неизлечим и смертелен, и потому он не только должен, но даже хочет умереть, в его, мол, случае необходимость и желание сплелись воедино, они не только нераздельны, но более того — вместе составляют вынужденное желанье, в котором «хотеть» неизбежно вытекает из «долженствовать» и «долженствовать» или «хотеть».

— Если ты мне подлинно друг, — сказал Шридаман все тем же задыхающимся, глубоко взволнованным голосом, — то окажи мне последнюю дружескую услугу, сооруди погребальный костер, чтобы я мог взойти на него и сгореть в огне. Ибо сжигающий меня изнутри неизлечимый недуг причиняет мне такие муки, что по сравнению с ними всепожирающее пламя покажется мне целебным бальзамом, более того — усладительным купанием в райских реках.

«О, великие боги! До чего ж он дошел!» — подумал Нанда, услышав это. Здесь следует сказать, что хотя у Нанды был козий нос и внешне он являл собою как бы золотую

середину между людьми низшей касты, у которых покупал железо, и внуком брахманов Шридаманом, но он сумел с честью выйти из трудного положения и, несмотря на почтительность, с какою относился к «старшему брату», не растерялся перед лицом его недуга, а напротив — употребил в пользу Шридамана преимущество, заключавшееся в том, что он, Нанда, был здоров, и, подавив свой испуг, заговорил с ним уступчиво и в то же время разумно.

— Будь покоен, — сказал он, — если твоя болезнь и впрямь неизлечима, а после твоих слов я не вправе в этом сомневаться, я тотчас же выполню твое приказание и примусь сооружать костер. Я даже сложу очень большой костер, чтобы рядом с тобою нашлось место и для меня, после того как я его разожгу, ибо разлуки с тобой мне не пережить ни на час, и в огонь мы пойдем с тобою вместе. Именно потому, что все это так близко касается и меня, ты должен мне немедленно сказать, что, собственно, с тобою, назвать свой недуг, хотя бы для того, чтобы я, убедившись в его неизлечимости, предал сожжению тебя и себя. Ты не можешь не признать, что мое требование справедливо, и если уж я своим скудным умом понял его справедливость, то ты, будучи стократ умнее меня, и подавно должен его одобрить. Когда я ставлю себя на твое место и на мгновение пытаюсь думать твоей головой, — как если бы она сидела у меня на плечах, — то я вынужден заметить, что моя, я хочу сказать — твоя, уверенность в неизлечимости твоего недуга требует дополнительной проверки и подтверждения, прежде чем мы сделаем столь далеко идущие выводы. Итак, говори!

Но спавший с лица Шридаман долго упрямылся и только твердил, что смертельная безнадежность его недуга не требует проверок и доказательств. Однако в конце концов уступил многократным натискам Нанды и, прикрыв глаза рукою, чтобы во время своей речи не смотреть на друга, сделал следующее признание.

— С той поры, — сказал он, — как мы увидели на месте священного омовения эту девушку, нагую, но добронравную, ту, которую ты качал на качелях до самого солнца, — Ситу, дочь Сумантры, — зерно недуга, равно вызванного к жизни ее наготой и ее добронравием, запало в мою душу и с часу на час все разбухало и разрасталось, покуда не наполнило собою все мои члены, мельчайшие ответвления каждой жилки, истощило мои душевные силы, похитило у меня сон и вкус к еде и теперь медленно, но верно изничтожает меня. Мой недуг, — продолжал он, — потому смертелен и безнадежен, что излечить его может только осуществление желания, коренящегося в красоте и добронравии девушки, а это невысказано, невыразимо, это за пределами того, что подобает человеку. Ясно ведь, что если страстная мечта о счастье искушает его и самая его жизнь зависит от того, сбудется она или нет, а между тем лишь богам, не людям, дано уповать на такое счастье, то человек этот обречен. Если не будет для меня Ситы, с глазами, как у куропатки, прекраснокожей, с дивными бедрами, то дух моей жизни улетучится сам собою. Посему сооруди для меня костер, — лишь в пламени я обрету спасенье от противоречия между божественным и человеческим. Но если ты решил взойти на него вместе со мной, — заключил он, — то, как ни жаль мне твоей цветущей юности, отмеченной знаком «счастливого теленка», я не стану спорить, — одна только мысль, что ты качал ее на качелях, раздувает пламя в моей душе, и мне очень не хочется оставить на земле того, кому суждено было это счастье.

Услышав такое, Нанда, к искреннему и глубокому изумлению Шридамана, разразился нескончаемым хохотом и попеременно то бросался обнимать друга, то приплясывал и прыгал.

— Влюблен, влюблен, влюблен! — восклицал он. — Вот и все! Вот он, твой смертельный недуг! Ну и дела! Ну и потеха! — И он запел:

Мудрец умел себя держать
Достоинно и степенно.
Но даже духа благодать —
И та несовершенна.

Один девичий взгляд — и что ж?
Ума как не бывало!
Мудрец с мартышкой бедной схож,
Что с дерева упала: #с_1.

Затем снова рассмеялся во всю глотку, хлопнул себя по коленям и крикнул:

— Шридаман, брат мой, как я рад, что этим все исчерпано, что ты просто бредил, говоря о костре, — верно, потому что огонь упал на соломенную крышу хижины твоего сердца! Маленькая колдунья слишком долго стояла на пути твоих взоров, и за это время бог Кама угодил в тебя цветочной стрелой,[40 - ...Кама угодил в тебя цветочной стрелой... — Кама, или Камадева (любовь, желание) — индийский бог любви, сын Вишну и Лакшми. Обычно изображается вооруженным волшебным луком с тетивой из пчел и пятью цветочными стрелами.] ибо то, что мы приняли за жужжанье золотых пчел, верно, было свистом его стрелы, и Рати, любовная тоска, сестра весны,[41 - Рати... сестра весны — жена Камы, богиня любовного счастья.] тоже поразила тебя. Все это обычно, радостно-повседневное и отнюдь не выходит за пределы того, что подобает человеку. Но если ты воображаешь, что одним богам дозволено мечтать об исполнении твоих желаний, это можно объяснить только страстностью желания и еще тем, что если оно и ниспослано тебе богом, а именно богом Камой, то не ему оно пристало, а он сделал так, чтобы оно пристало тебе. Я говорю это не из душевной черствости, а лишь затем, чтобы охладить твои любовью распаленные чувства, и еще, чтоб ты знал, что отчаянно переоцениваешь свою цель, полагая, будто только боги, не люди, вправе стремиться к ней, тогда как на самом деле ничего не может быть естественнее и человечнее твоей потребности посеять семя в эту «бороздку». — Он прибег к такому выражению, потому что Сита и означает «борозда».[42 - ...Сита и означает «борозда». — В древнеиндийском эпосе «Рамаяна» Сита — дочь царя Джанакки, родившаяся из борозды, проведенной ее отцом вокруг жертвенника, и жена героя Рамы, земного воплощения бога Вишну. Имя Ситы носит также жена Индры, богиня земледелия и плодородия, призываемая во время пашни и посева.] — Но к тебе, — продолжал он, — как нельзя лучше применима поговорка: «Днем слепа сова, ночью — ворона, слепой от любви — слеп и днем и ночью!» Я привел это поучительное речение для того, чтобы ты одумался и понял наконец: Сита из Воловьего Дола вовсе не богиня, хотя в своей наготе, у места омовений Дурги, и показалась тебе таковою, а совсем простая девушка, только, по правде сказать, прехорошенькая; и живет она, как все остальные, — мелет зерно, варит кашу, прядет шерсть, да и родители Ситы обыкновенные люди, хоть ее отец Сумангра и не прочь прихвастнуть каплей воинственной крови, что течет в его жилах, — но это не меняет дела, во всяком случае не слишком меняет! Одним словом, они люди, с которыми можно потолковать, и раз у тебя есть друг, такой, как твой Нанда, то неужто ж он не поспешит к ним и не сладит для тебя это простое и обыденное дело? Не добудет тебе счастья? Ну? А? Что скажешь, дурень? Чем соорудать костер, где и я хотел прикорнуть возле тебя, я лучше помогу тебе соорудить брачный чертог, в котором ты станешь жить со своей пышнобедрой красавицей.

— В твоих словах, — помолчав, ответил Шридаман, — содержалось много оскорбительного, не говоря уж о твоей песне. Оскорбительно, что муку моего желания ты назвал простой и обыденной, тогда как она превышает мои силы и, кажется, вот-вот разобьет мою жизнь, а ведь известно, что желание, которое сильнее нас, иными словами — слишком сильное для нас, справедливо считается подобающим не людям, а разве что

богам. Но я знаю, ты желал мне добра и хотел утешить меня, а потому прощаю тебе простецкие и невежественные разговоры о моем смертельном недуге. Мало того, что прощаю, но твои последние слова и что ты считаешь возможным то, о чем ты мне сказал, наполняют мое обреченное сердце буйным биением жизни, и это от одной лишь мысли о том, что мечта осуществима, от одной лишь веры в ее осуществление, веры, на которую я, собственно, не способен. Порою мне, правда, кажется, что человек, не пораженный моим недугом, может представить себе положение вещей более здраво и ясно, чем я. Но тут же я снова начинаю сомневаться, перестаю доверять какой бы то ни было точке зрения, кроме своей, обрекающей меня смерти. Разве так невероятна мысль, что божественная Сита еще ребенком была помолвлена и в скором будущем соединится узами брака с возмужавшим женихом? Эта мысль нестерпимее огненных мук, и укрыться от нее можно лишь в охлаждающем пламени костра.

Но тут Нанда стал заверять друга, что его опасения не имеют под собою почвы и что Сита не связана детским обетом.[43 - ...Сита не связана детским обетом. — В древней и феодальной Индии были в обычае браки, заключавшиеся еще в младенческом или раннем детском возрасте.] Ее отец Сумантра не пошел на это из боязни подвергнуть Ситу позору вдовьей доли в случае преждевременной смерти юного нареченного. Да и разве ее избрали бы «девой качелей», будь она обручена. Нет, Сита свободна и доступна сватовству, а при достатке Шридамана, при его принадлежности к брахманской касте и его осведомленности в книгах Вед дело за малым — пусть даст распоряжение другу все взять в свои руки, начать переговоры между двумя семьями, и счастливый исход сватовства обеспечен.

При новом упоминании о качелях у Шридамана страдальчески задергалась щека, но все же он поблагодарил друга за желание прийти ему на помощь и мало-помалу позволил здравому разуму Нанды обратить его от мысли о смерти к вере в то, что в осуществлении его страстного желания — заключить Ситу в супружеские объятия — нет ничего сверхъестественного и невозможного для человека; при этом он, однако, твердо стоял на том, что, если сватовство закончится неудачей, Нанда должен немедленно своими руками соорудить для него костер. Сын Гарги обещал ему это в самых успокоительных словах, но прежде всего, шаг за шагом, обсудил с ним предписываемую обычаем церемонию сватовства, при которой Шридаману надо было только оставаться в стороне и терпеливо ждать вести об успехе. Они порешили, что для начала Нанда откроет Бхавабхути, отцу Шридамана, намерения сына и склонит его вступить в переговоры с родителями Ситы; затем все тот же Нанда как доверенное лицо жениха и сват отправится в Воловий Дол, чтобы своим там пребыванием способствовать сближению юноши и девушки.

Что сказано, то сделано. Бхавабхути, ваниджья из рода брахманов, обрадовался сообщению друга и поверенного своего сына; Сумантра, скотовод и потомок скотоводов-воителей, не остался бесчувствен к обильным дарам, подкреплявшим сватовство; Нанда прославлял у него в доме друга речами, хоть и простонародными, но весьма убедительными. Успешно прошло и ответное посещение отцом и матерью Ситы «Обители благоденствующих коров», убедившее их в добропорядочности искателя. Меж тем, покуда в хлопотах и беседах проходили дни, девушка привыкла видеть в Шридамане, купеческом сыне, своего суженого, а в скором времени господина и супруга. Наконец брачный договор был составлен и подписание его ознаменовано щедрым пиршеством и взаимными дарами — на счастье. День свадьбы, назначенный в строгом согласии с исчислениями звездочетов,[44 - День свадьбы, назначенный в строгом согласии с исчислениями звездочетов... — В старину в Индии брак мог состояться только при благоприятном заключении астрологов, которые должны были составить и сличить гороскопы жениха и невесты, так как расхождение между этими гороскопами могло иметь якобы самые пагубные последствия для семейной жизни.] неуклонно

приближался, и Нанда, твердо знавший, что день этот должен наступить, хотя на него и назначено бракосочетание Шридамана с Ситой — причина достаточная, чтобы Шридаман не верил в его наступление, — обегал всю округу, сзывая на свадьбу жрецов и друзей. Все тот же Нанда честно потрудился, складывая во внутреннем дворе невестиного дома, под однообразное чтение брахманом святых книг, свадебный костер из сухих лепешек коровьего навоза.

И вот настал день, когда Сита, прекрасная, куда ни глянь, умастила свое тело сандалом, камфарой и кокосовым маслом, украсилась драгоценностями, надела на себя расшитую блестками безрукавку, облеклась в сари, закрыла ниспадавшим пеною покрывалом лицо, которое впервые предстояло увидеть ее суженому (мы-то хорошо знаем, что не впервые), и впервые же назвала его по имени. Долго не настаивал вожденный час, но наконец все же настал, — час, когда Шридаман произнес: «Я получил ее», — и, в то время как вокруг них, согласно жертвенному обряду, рассыпали рис и лили масло, принял Ситу из рук родителей, чтобы назвать себя небом, ее же землю, ладом песни — себя, словом песни — ее и затем, под пение хлопающих в ладоши женщин, трижды обвести ее вокруг пылающей навозной кучи, после чего на празднично разукрашенных белых яках он увез ее в свою деревню, к родной своей матери.

Там им предстояло выполнить еще множество обрядов, приносящих счастье новобрачным: они снова ходили вокруг огня, жених кормил ее сахарным тростником и уронил кольцо в ее одежды, потом они сели за свадебный стол вместе с родичами и друзьями. А когда все кончили есть и пить, невесту с женихом окропили водой из Ганга, а также розовым маслом, и все собравшиеся повели их в брачный покой, названный покоем «счастливой четы», где для них уже было уготовано осыпанное цветами ложе. Под шутки, поцелуи и слезы каждый простился с новобрачными; Нанда, все время находившийся подле них, — последним, уже на пороге.

V

Но пусть те, кто внемлет рассказу, обольстившись его отрадным течением, не сорвутся в ловчую яму обмана, скрывающую истинный его смысл. Покуда мы молчали, он на мгновение отвратил от нас свое лицо, когда же вновь обернулся к нам, оно исказилось, стало походить на свирепую маску, обезумело, окаменело, приняв черты ужасного лика, зовущего всех и вся к кровавым жертвоприношениям. Таким открылся лик рассказа и Шридаману, и Сите, и Нанде, когда они, пустившись в путь... Но не будем опережать хода событий.

Шесть месяцев протекло с того дня, как мать Шридамана приняла в свой дом невестку, прекрасную Ситу, и та сполна одарила своего тонконосого супруга упоениями страсти. Миновало знойное лето, а за ним и пора дождей, покрывшая небо водообильными тучами, а землю — свежестью распускающихся цветов; небесный шатер стал снова безоблачен и уже по-осеннему зацвел лотос, когда молодожены и друг их Нанда, с благословения родителей Шридамана, отправились в гости к родителям Ситы, которые со дня свадьбы ее не видали и хотели воочию убедиться, что замужество дочери не осталось бесплодным. Хотя Сита в скором будущем готовилась стать матерью, они все же отважились пуститься в странствие, впрочем недолгое и не слишком томительное, так как погода уже стояла прохладная.

Они ехали в крытой, занавешенной повозке, запряженной яком и одногорбым верблюдом. Повозкою правил Нанда. Он сидел впереди супругов в заломленной набекрень ермолке и, болтая босыми ногами, так неотступно и, казалось, так

внимательно следил за животными и дорогой, что не успевал обернуться к Шридаману с Ситой и перекинуться с ними словечком. Время от времени он покрикивал на животных, потом высоким и очень громким голосом затягивал песню. Но всякий раз голос у него тут же срывался и пение его начинало походить на жужжанье, в свою очередь обрывавшееся выкриками вроде: «Нн-о! Пошевеливай!» В том, как он исторгал громкие звуки песни из стесненной груди, было что-то пугающее, как, впрочем, и в неожиданно быстром спаде его голоса.

Молодые супруги позади него сидели молча. Глаза их, поскольку Нанда торчал впереди, непременно упирались бы ему в затылок, и молодая женщина нет-нет да и поднимала опущенный долу взор, чтобы посмотреть в затылок возницы, и тут же вновь потупляла его. Шридаман же не хотел этого делать и решительно предпочитал глядеть вбок на раздувающуюся холстину. Он бы охотно поменялся с Нандой местами и сам бы взял в руки вожжи, лишь бы не видеть того, что видела его жена, сидевшая рядом, — смуглую спину с четко обозначенным хребтом и подвижными лопатками. Но беда в том, что, поменяйся они местами, как он хотел, чтобы облегчить свое сердце, ничего путного из этого бы все равно не получилось. Так они медленно тащились по дороге, все трое часто дыша, словно они бежали, и жилки краснели в белках их глаз, что, как известно, ничего доброго не предвещает. Человек, наделенный даром ясновидения, наверно бы заметил тени черных крыл, осенявших их повозку.

Они охотнее ехали под крылом ночи, вернее в утренние, предрассветные часы, как то делают обычно, чтобы избежать томительного зноя. Но у них на то была своя, особая причина. Поелику они блудили в сердце своем, а мрак, как известно, поощряет блужданье, то, сами того не сознавая, они перенесли блуд своего сердца во внешнее пространство зримого мира, то есть попросту заблудились. Дело в том, что Нанда поворотил свою упряжку — яка и верблюда — не там, где надо, не на ту дорогу, что должна была их привести в деревню Ситы. Он, — извинением ему, конечно, могло служить безлунное, только звездное небо, — ошибся развилкой, и дорога, по которой он поехал, вскоре оказалась не дорогой, но обманчивым просветом между деревьями; поначалу они стояли раздельно, но затем сплотились в лесок, как бы высланный вперед непроходимым лесом, чтобы завлечь путников и вскоре скрыть из поля их зрения даже этот, на миг блеснувший просвет, который мог бы по крайней мере помочь им выбраться обратно.

Невозможным оказалось и продвигаться вперед среди тесно их обступивших стволов, по вязкой влажной почве леса, и они, все трое, признали, что сбились с пути, не признав, однако, того, что сами навлекли на себя это злосудное, повторившее смуту в их собственных душах, — ведь Шридаман и Сита, сидевшие позади Нанды, даже не думали спать и с открытыми глазами позволили Нанде завезти их в глухомань бездорожья. Теперь им поневоле пришлось развести костер для защиты от хищных зверей и дожидаться восхода солнца. Когда же дневной свет стал проникать сквозь чащобу, они принялись обследовать все кругом, выпрягли яка с верблюдом и с великим трудом покатали свою повозку сквозь заросли тиковых и сандаловых деревьев к опушке джунглей, где перед ними возникло скалистое ущелье, поросшее редким кустарником, и Нанда убежденно заявил, что оно должно привести их к цели.

Так, трясясь по каменистым уступам на вихляющей из стороны в сторону повозке, приехали они к высеченному в скале святилищу Деви, грозной и неприступной Дурги, Темной Матери Кали, и тут Шридаман, повинаясь внутреннему зову, высказал желание остановиться и воздать почесть богине.

— Я хочу только поглядеть на нее, помолиться, и сейчас же вернусь, — сказал он своим спутникам. — Подождите меня здесь! — Он слез с повозки и стал подыматься по

выщербленным ступеням, ведущим к храму.

Этот храм, как и храм великой Матери над укромным местом омовения на речке Золотая Муха, не принадлежал к великим и славным святилищам, но колонны и стены его были густо испещрены священными изображениями. Дикая скала нависала над входом, опираясь на каменные столбы, которые охранялись ощеренными барсами; по правую и левую руку от них, а также вдоль стен внутреннего хода в скале были высечены раскрашенные изображения — лики живой плоти, что состоит из костей, кожи, сухожилий, мозга, семени, пота, слез и маслянистой влаги глаз, испражнений, мочи и желчи, плоти, преобразенной страстью, гневом, безумием, алчностью, завистью, отчаянием, разлукой с теми, кого любишь, и прикованностью к тем, кого ненавидишь, — голодом, жаждой, старостью, печалью и смертью; плоти, в которой обращается неиссякаемый поток крови, горячей и сладкой, плоти в тысячах образов мучительно наслаждающейся собою, плоти, что кишит и сплетается в великом множестве воплощений, переходящих одно в другое, так что в этом подвижном, все созидающем нагромождении человеческого, божественного и звериного хобот слона как бы заменял собою руку мужчины, а морда вепря — женское лицо. Шридаман не обращал внимания на эти изображения, словно бы и не видел их, но, покуда он шел, его воспаленный взор, скользя по стенам, невольно вбирал их в себя, и душа его, проникаясь дурманящей нежностью и состраданием, безотчетно подготавливалась к лицезрению великой Матери.

В капище царил полумрак; дневной свет скупно проникал только сверху, из-под нависшей скалы, в предхрамие и примыкавший к нему предвратный придел, расположенный несколькими ступенями ниже. Здесь, за низко опущенными воротами, к которым тоже надо было сойти по ступеням, перед ним разверзлось лоно храма, чрево Матери Кали.

На последней ступени он вздрогнул и отпрянул назад, хватаясь распростертыми руками за линги по обе стороны входа. Ужас вселяло изваяние Кали. Привиделось ли это его воспаленным глазам, или и впрямь — никогда и нигде — не представала ему Гневливая в столь торжествующе-страшном образе? Из-под каменного свода арки, повитой гирляндами черепов и отрубленных рук и ног, выступал истукан, раскрашенный красками, вобравшими в себя свет и щедро его отдающими, в блистающем царственном уборе, опоясанный и увенчанный костями и членами земных существ, в неистовом вращении колеса своих восемнадцати рук. Мечами и факелами размахивала Мать, кровь дымилась в черепе, который, как чашу, подносила к устам одна из ее рук; кровь у ног ее разливалась рекой. Наводящая Ужас стояла в челне, плившем по морю жизни, по кровавому морю. Но и запах настоящей крови учуял тонкий, как лезвие, нос Шридамана, сладковато-застоялый запах, пропитавший спертый воздух пещеры, подземной бойни, где в пол были вделаны желобы, по которым липко струился жизненный сок обезглавленных животных. Звериные головы с открытыми остекленевшими глазами, штук пять или шесть голов буйвола, свиньи и козы были пирамидой сложены на алтаре перед идолом Неотвратимой, и ее меч, их отсекавший, острый, блестящий, хотя и в пятнах запекшейся крови, лежал чуть поодаль, на каменных плитах.

С ужасом, который быстро начал перерастать в исступленный восторг, вглядывался Шридаман в свирепый пучеглазый лик Алчущей жертв, Несущей смерть и Дарящей жизнь, в бешеное, вихревое кружение ее рук, от которого и у него уже кружилась голова и, как в пьяной одуре, мутились чувства. Он прижимал кулаки к своей бурно вздымающейся груди, волны палящего жара и леденящего холода обдали его, подкатили к затылку, к левой стороне груди, к восставшему в муке мужскому естеству и подвигли его на крайнее деяние против себя и во славу вечного лона. Уже обескровленные губы Шридамана шептали молитву:

— О, Безначальная, бывшая прежде всего сущего! Мать без супруга, чей подол еще

никто не поднял, сладострастно и губительно всеобъемлющая, ты, которая поглощаешь все миры и образы, из тебя проистекшие! Множество живых существ приносит тебе в жертву народ, ибо тебе довлеет кровь всего живого, и неужели твоя милость, мне во спасение, не осенит меня, если я сам себя принесу тебе в жертву? Я знаю, что все равно не уйду из коловращения жизни, хоть я и хочу этого. Но дай мне снова войти в врата материнского чрева, чтобы избавиться от своего постылого Я и не быть больше Шридаманом, у которого отъята всякая радость, ибо не ему суждено расточать ее!

Проговорил эти темные слова, схватил меч, лежавший на полу, и отделил свою голову от туловища.

Скоро это сказано, да и сделано могло быть только скоро. И все же рассказчиком владеет желание: пусть те, что ему внимают, не примут рассказ об этом деянии бездумно и равнодушно, словно нечто обычное и естественное, лишь на том основании, что в легендах часто говорится об усекновении собственной головы как о событии заурядном.

Единичный случай не бывает заурядным: есть ли что-нибудь зауряднее для мысли и для рассказа, чем рождение и смерть. Но побудь-ка свидетелем рождения или смерти и спроси себя, спроси роженицу или умирающего, так ли уж это заурядно? Усекновение собственной головы, сколько бы об этом ни говорилось, деяние почти невысказанное. Для его добросовестного осуществления требуется безмерная воодушевленность, яростное сосредоточение воли и жизненных сил в единой точке свершения. И то, что Шридаман со своим задумчивым, кротким взглядом все же совершил его своими, не очень-то сильными, руками купеческого сына и потомка брахманов, должно быть воспринято отнюдь не как нечто заурядное, а как поступок, поистине достойный изумления.

Так или иначе, но он в мгновение ока принес страшную жертву, так что его голова с шелковистой бородкой, окаймлявшей щеки, оказалась в одной стороне, тело же, бывшее малозначительным придатком к этой благородной голове, вместе с руками, еще крепко сжимавшими рукоять жертвенного меча, — в другой.

Но из туловища Шридамана с неистовой силой хлынула кровь, чтобы затем — по пологим желобам с покатыми стенками, проложенными в полу храма, — медленно стечь в глубокую яму, вырытую под алтарем, — совсем как речка Золотая Муха, которая сначала, точно молодая кобылка, вырывается из ворот Химаванта[45 - ...речка... вырывается из ворот Химаванта... — Химавант («Снежный») — древнеиндийское название Гималайского хребта.] и затем все медленнее и медленнее держит путь к устью.

VI

Но возвратимся из лона этого пещерного капища к тем, что дожидаются у входа. Они, как и можно было предполагать, сначала были молчаливы, а потом стали обмениваться недоуменными вопросами касательно Шридамана, который зашел в храм лишь затем, чтобы воздать почести богине, но вот так долго не возвращается. Прекрасная Сита, сидевшая позади Нанды, долгое время смотрела то ему в затылок, то себе в колена и была не менее молчалива, чем он, упорно не отворачивавший от упряжки своей физиономии с козьим носом и простонародно выпяченными губами. В конце концов оба все-таки начали ерзать на своих местах, а еще немного спустя друг отважился оборотиться к юной супруге и спросить:

— Ты-то хоть понимаешь, отчего он заставляет нас дожидаться и что он там так долго делает?

— Понятия не имею, Нанда, — отвечала она тем самым колеблющимся и сладостным голосом, услышать который он боялся, как заранее боялся и того, что, отвечая, она назовет его по имени, а это представлялось ему уж вовсе излишним, хотя было столь же несущественно, как если бы он сказал: «Куда это запропастился Шридаман?» — вместо того чтоб сказать: «Куда это он запропастился?»

— Я уж давно ломаю себе голову над этим, милый Нанда, и если б ты сейчас ко мне не обернулся и не спросил меня, я бы сама, пусть чуть-чуть попозже, задала тебе этот вопрос.

Он покачал головой, отчасти от удивления — почему так замешкался друг, отчасти же отклоняя излишнее, то и дело срывавшееся у нее с языка; ведь вполне достаточно было сказать «обернулся», добавление «ко мне», разумеется вполне правильное, было излишне до опасности — выговоренное в то время, как они ждали Шридамана, сладостно колеблющимся, чуть неестественным голосом.

Он молчал из страха тоже заговорить неестественным голосом и, возможно, еще и назвать ее по имени, следуя ее искусительному примеру; итак, это она, после короткого молчания, предложила:

— Слушай, что я тебе скажу, Нанда, сходи-ка за ним, погляди, где это он застрял, можешь встряхнуть его сильными своими руками, если он забылся в молитве, — нам нельзя больше ждать; очень странно с его стороны заставлять нас сидеть здесь на солнцепеке и попусту терять время, когда мы и без того так долго плутали; мои родители верно уж сильно беспокоятся, потому что они во мне души не чают. Прошу тебя, Нанда, сходи и приведи его. Даже если он еще не хочет идти и заартачится, все равно приведи! Ты ведь сильнее.

— Хорошо, я приведу его, — отвечал Нанда, — только, конечно, не силком. Просто напомним ему, что час уже поздний. Вообще-то я виноват, что мы сбились с пути, один я. Я уж и сам собирался сходить за ним, да подумал, может, тебе одной боязно дожидаться здесь. Но я ведь мигом обернусь.

Сказав это, он слез с козел и двинулся наверх к святилищу.

А мы, знающие, что его там ждет! Наш долг проводить его через предхрамие, где он еще ничего не подозревал, и через предвратный придел, где он тоже еще пребывал в полнейшем неведении, и, наконец, спуститься с ним в материнское лоно. Да, тут он покачнулся, ноги у него подкосило, приглушенный крик ужаса сорвался с губ, он едва устоял, схватившись за линги, совсем как Шридаман, но не идол его испугал и поверг в зловещий экстаз, как Шридамана, а то страшное, что было распростерто на полу. Там лежал его друг, изжелта-бледная его голова с размотавшейся белой холстиной была отделена от туловища, и кровь его отдельными ручейками стекала в яму.

Бедный Нанда трясся, как слоновье ухо. Он схватился за щеки своими смуглыми руками, унизанными множеством перстней, и из его простонародных губ с трудом вновь и вновь выдавливалось имя друга. Нагнувшись, он беспомощно взмахивал руками над расчлененным Шридаманом, так как не знал, к какой части обратиться, какую заключить в объятия, к какой взывать — к телу или к голове. Наконец он остановился на последней: голова-то всегда всего главнее; преклонил колени перед бледным челом и заговорил (лицо его с козьим носом исказили рыдания), одну руку все-таки положив на тело и время от времени и к нему оборачиваясь.

— Шридаман, — всхлипывал он, — дорогой мой! Что ты наделал и как это тебя достало такое совершить над собой, собственными руками содеять столь трудное деянье? По тебе ли этот подвиг? Но ты совершил то, чего никто от тебя не ждал. Всегда я восхищался твоим духом, а теперь обречен горестно восхищаться еще и телом, потому что ты осуществил наитруднейшее! Что же творилось в тебе, если ты на это пошел? Какой жертвенный танец рука в руку плясали в твоей груди великодушие и отчаяние, если ты себя убил? Ах, горе, горе, благородная голова отделена от благородного тела! Оно еще покрыто жирком, но смысл и значение у него отняты, ибо разрушена его связь с благородной головой. Скажи, моя это вина? Я виновен в твоем поступке своим бытием, если не своим деянием! Видишь, я думаю за тебя, потому что моя голова еще думает, — может быть, ты сделал этот выбор, ибо познал суть вещей и вину бытия счел важнее вины деяния. Но может ли человек сделать большее, нежели избежать деяния? Я молчал сколько возможно, лишь бы не заговорить воркующим голосом. Ничего лишнего я не сказал, даже имени ее ни разу не произнес, когда говорил с нею. Я сам себе свидетель, конечно только один я, ни на что я не посмел откликнуться, когда она язвительно о тебе отзывалась, чтобы возвысить меня. Но что толку от этого, ежели я виноват уже тем, что существую во плоти? Мне бы уйти в пустынь и там жить в посту и воздержании. И уйти бы, не дожидаясь, пока ты со мной заговоришь, — теперь вконец раздавленный, я это понимаю; и чтоб облегчить себе бремя, могу добавить: я б наверняка это сделал, заговори ты со мной! Почему ты со мной не заговорила, дорогая голова, покуда еще не лежала в стороне, а сидела на своем туловище? Ведь они всегда разговаривали друг с другом, наши головы: твоя — по-умному, а моя — по-простому, а вот когда все стало важно и опасно, ты молчал! Теперь уже поздно, ты ничего не сказал, а совершил поступок, великодушный и грозный, и тем предписал мне, как должно поступать. Ведь ты же не думал, что я от тебя отстану и что перед поступком, который ты совершил своими нежными руками, мои руки отпрянут, опустятся! Я тебе часто говорил, что не сумею пережить разлуку с тобой, и когда ты, охваченный любовной болезнью, приказал сложить для тебя костер, я сказал, что если так, то я буду готовить костер для двоих и прыгну в него за тобою. Что теперь должно случиться, я знаю давно, хоть сейчас только сумел выудить это из путаницы моих мыслей, едва я сюда вошел и увидел тебя на полу (тебя — это значит тело, а рядом голову), приговор над Нандой был произнесен. Я хотел гореть с тобою, а теперь хочу истекать кровью с тобой, потому что ничего другого мне, сказать по правде, не остается. Что ж мне теперь — выйти и сказать ей, что ты сотворил, и в криках ужаса, которые она станет испускать, расслышать ее тайную радость? Что ж мне — ходить по свету с пятном на честном имени и слушать, как люди говорят, а они наверняка будут это говорить: «Злодей Нанда предал друга, убил его, потому что возжелал его жену»? Нет, этому не бывать! Никогда! Я пойду за тобой, и пусть вечное лоно пьет мою кровь вместе с твоею!

Сказав это, он отвернулся от головы и оборотился к телу, высвободил рукоятку меча из его уже цепенеющих пальцев и отважными своими руками добросовестно привел в исполнение приговор, который сам же произнес над собой, так что тело его, если сначала упомянуть именно тело, рухнуло поперек Шридаманова, а пригожая его голова подкатилась к голове друга и с остекленевшими глазами осталась лежать подле нее. И его кровь сначала хлынула дико и стремительно, а затем медленно заструилась по желобам...

VII

Меж тем Сита, сиречь «бороздка», сидела одна под шатром своей повозки, и ей казалось, что время течет еще медленнее оттого, что впереди нет больше затылка, на который можно смотреть. Сите, конечно, и не снилось, что произошло с этим затылком, покуда ее

здесь одолевало самое будничное нетерпение. Возможно, впрочем, что в ее душе, глубоко под досадой, правда живой, но тем не менее относящейся к невинному миру мыслимых вещей и даже побуждавшей ее сердито топтать ножками, шевелилось предчувствие чего-то ужасного, что явилось причиной ее тоскливого ожидания и чему никак не соответствовали проявления нетерпеливости и досады, ибо оно относилось к разряду тех возможностей, когда топтать ножками, право же, не приходится. Мы, конечно, должны принять во внимание тайную открытость молодой женщины такого рода предположениям, потому что в последнее время она познала обстоятельства, которые были несколько сродни, чтобы не сказать больше, той сверхобычной сфере. Впрочем, это никак не отозвалось на том, что сейчас проносилось в ее мозгу.

«Я уж не знаю, что и сказать? Это же просто непереносимо! — думала она. — Ох, эти мужчины, все они одинаковы! Право же, не стоит одного предпочитать другому: ни на кого положиться нельзя. Один уходит, оставляет тебя сидеть с другим, за что его надо было бы хорошенько проучить, а когда ты отсылаешь другого — сиди одна. Да еще на самом солнцепеке, потому что мы невесть сколько проплутали! Еще немного, и я лопну с досады. Ведь среди всех разумных и положительных возможностей не сыщешь объяснения или оправдания тому, что сначала запропастился один, а потом и другой, который за ним пошел. Мне остается только думать, что они затеяли спор и драку, — Шридаман так привержен молитве, что его с места не сдвинешь, а Нанда хоть и старается его увести, но из уважения к хрупкости моего мужа не отваживается пустить в ход всю свою силу, потому что он бы мог вынести этого Шридамана ко мне на руках, как ребенка, ведь руки у Нанды наливаются, точно железные, если ненароком проведешь по ним ладонью. Это бы, конечно, унизило Шридамана, но я так заждалась, что пусть уж Нанда его унижит. Вот что я хочу сказать: надо бы мне сейчас взяться за вожжи и одной отправиться к моим родителям, а вы придете, и здесь — никого, вот вам и поделом! Если бы я не считала за бесчестье явиться туда без мужа и друга, из-за того что они посадили меня здесь дожидаться, я бы так и сделала. А теперь мне только остается встать (дольше мешкать уже нельзя), пойти за ними и посмотреть, что они такое творят. Не удивительно, что меня, бедную женщину, да еще брюхатую, одолевает страх, что-то таинственное наверно уж гнездится за их загадочным поведением. Но все равно, самое худшее из всего мыслимого — это что они по каким-то причинам, которых другому и не надумать, повздорили и из-за этого задержались. В таком случае надо мне вмешаться и поставить на место их глупые головы».

Тут Сита вылезла из повозки и пошла, при этом бедра ее колыхались под обвивающим стан сари, к храму Матери, и, не успев и пятнадцати раз вдохнуть воздух, узрела ужаснейшее из деяний.

Она вскинула руки, глаза выступили у ней из орбит, сознание затемнилось, и она во весь рост грохнулась наземь. Но что толку от этого? Ужаснейшему деянию спешить было некуда, оно могло ждать, как ждало уже, покуда Сита воображала, что это она ждет; на любой срок оставалось оно таким, как было, и когда несчастная пришла в себя, ничто не изменилось. Она попыталась еще раз упасть в обморок, но благодаря ее здоровой натуре это ей не удалось. Итак, присев на камень и схватившись руками за голову, она неподвижным взглядом уставилась на отделенные головы, на крест-накрест лежащие тела и на медленно растекавшуюся подо всем этим кровь.

— О боги, духи и великие подвижники, — лепетали ее посинелые губы, — я пропала! Оба, оба зараз — ну, мне конец! Мой супруг и господин, с которым я ходила вокруг костра, мой Шридаман с высокоумной головой и всегда горячим телом, кто в священные брачные ночи обучил меня всему, что я знаю в сладострастии, досточтимая его голова отделена от тела, нет его больше, он мертв! Мертв и другой, Нанда, который качал меня на качелях и был моим сватом, — вот он лежит, голова его отделена от окровавленного тела, «завиток

счастливого теленка» еще виден на отважной груди — без головы, что же это такое? Я могла бы до него дотронуться, могла бы ощутить силу и красоту его рук и ляжек, если бы посмела. Но я не смею: кровавая смерть встала между ним и моим желанием, как прежде вставали честь и дружба. Они отсекали головы друг другу! По причине... я уже не таю ее от себя... Злоба их разгорелась, точно огонь, в который плеснули масла, они схватились, и свершилось это взаимное деяние — я так все и вижу! Но как же они, разъяренные, бились одним мечом? Шридаман, позабыв свою мудрость и кротость, обнажил меч и отсек голову Нанде, после чего тот... да нет же! Нанда по причине, от которой, в моей беде меня еще и мороз по коже подирает, обезглавил Шридамана, а он... да нет же, нет! Перестань гадать, ничего у тебя не получается, одни кровавые потемки, а их и без того достаточно; одно мне ясно, что они поступили как дикари и нисколько обо мне не думали. То есть, конечно, думали, из-за меня, бедной, разожглась их мужская распря, и меня от этого в дрожь бросает; но только из-за себя они думали обо мне, не из-за меня, не подумали ведь, что со мною будет, — в своем неистовстве они ничуть об этом не заботились, точь-в-точь как сейчас, когда они недвижно лежат без головы, а я сама должна думать, с чего же мне теперь начать! Начать? Да здесь кончать надо, а не начинать. Неужто же мне вдовой бродить по жизни да слушать хулу и поношения: эта, мол, женщина так плохо ходила за своим мужем, что он погиб. О вдовах и всегда-то худо отзываются, а сколько я еще сраму приму, когда одна явлюсь в дом моего отца и в дом моего свекра. Здесь только один меч, не может быть, чтобы они друг друга убили, — одним мечом двоим не управиться. Но есть еще третий человек — я. Будут, конечно, говорить, что я необузданная женщина, что я убила своего супруга и его названного брата — цепь доказательств замкнулась. Она, конечно, фальшивая, но зато законченная, звено к звену, и меня предадут огню, невинную. Нет, нет! — не невинную, стоило бы, конечно, налгать на себя, если б не все было кончено, а так это бессмыслица. Я вовсе не невинная, давно уже, а что касается необузданности, доля правды здесь есть, — большая, очень большая доля! Только все это не так, как будут думать люди, а значит, есть на свете ошибочная справедливость? Вот тут-то я и забегу вперед, сама себя покараю. Я должна последовать за ними, больше мне ничего, ничего не остается! Меч, где уж мне с ним управиться этими ручками, они так малы и боязливы, что им не истребить тела, которому они принадлежат; оно хоть и набухло соблазнами, но все насквозь — слабость. Ах, жалко очень его прелести, и все же оно должно стать таким неподвижным и бездыханным, как эти оба, чтобы впредь не возбуждать похоти и ее не испытывать. Вот то, что непременно должно случиться, пусть даже число жертв возрастет до четырех. Да и что б он увидел в жизни, вдовий ребенок? Несчастья бы согнули беднягу, я уверена, что он был бы бледный и слепой, потому что я побледнела от горя в миг сладострастия и закрыла глаза перед тем, кто меня одарил им. Что делать! Это они предоставили мне. Смотрите же, как я сумею себе помочь!

Она встала, зашаталась из стороны в сторону, потом взбежала по ступенькам и, устремив взгляд в пустоту, помчалась через приделы храма обратно, на волю. Фиговое дерево росло перед святилищем, все увитое лианами. Она схватила одно зеленое вервие, смастерила из него петлю, просунула в нее шею и совсем уже собралась удушить себя.

VIII

Тут был ей голос из высей, и, несомненно, он мог принадлежать только Дурга-Деве,[46 - Деве (Божественная) — одно из имен богини Кали.] Неприкасаемой, Кали Темной, Матери мира. Это был низкий, грубый, матерински решительный голос.

— Что это ты задумала, глупая гусыня? — рек он. — Тебе, видно, мало, что кровь моих сынов, по твоей вине, стекает в яму, ты еще хочешь изуродовать мое дерево и

превосходное мое порождение — твое тело — отдать на растерзание воронам вместе с милым, сладостным, тепленьким зернышком, которое всходит в нем? Ты что, индюшка, не заметила, что оно в тебя заложено и что ты с ношею от моего сына? Ежели ты не умеешь считать до трех в этих наших делах, то сделай одолжение, вешайся, да только не в моем дворе, а то будет похоже, что добрая жизнь кончается в мире из-за твоей бестолковости. Мудрецы мне все уши прожужжали глупыми своими домыслами, что человеческое бытие — это, мол, болезнь, ею заражаются в любовном пылу, а значит, так передают и в другие поколения, — а ты, дурища, устраиваешь мне здесь такие штуки! Вынимай голову из петли, не то заработаешь оплеуху!

— Святая Мать, — отвечала Сита, — разумеется, я повинуюсь тебе. Я слышу твой громовый голос из-за облаков и тотчас же прерываю дело, которое затеяла с отчаяния, раз ты повелеваешь. Одно только должна я сказать себе в оправдание: напрасно ты считаешь, что я не понимала своего положения и не заметила, что ты укрепила во мне росток и благословила меня. Я только думала, что он будет теперь бледным, слепым, несчастненьким.

— Ты уж, пожалуйста, предоставь мне печься об этом! Во-первых, то, что ты говоришь, — глупое бабье суеверие, во-вторых, в моей пастве должны быть и бледные, слепые, несчастненькие. Ты лучше чистосердечно признайся, почему там, в храме, прилила ко мне кровь моих сынов, они оба, каждый на свой лад, славные были ребята! Не скажу, что их кровь была мне неприятна, но на некоторое время я еще охотно оставила бы ее течь в их достойных жилах. Говори же! Да смотри, говори правду! Ты, надеюсь, понимаешь, что от меня и так ничего не укроется.

— Они убили друг друга, святая Мать, а меня оставили сидеть и дожидаться. Впали в ярость из-за меня и одним и тем же мечом отсекли...

— Вздор! Только баба может наболтать такую ерунду! Они сами, в отважном своем благочестии, один вслед за другим, принесли себя мне в жертву, вот тебе и весь сказ! Но почему они это сделали?

Прекрасная Сита разрыдалась и сквозь слезы начала говорить:

— Ах, святая Мать, я знаю и не запираюсь, что виновата я, но что тут поделаешь? Такое уж стряслось несчастье, неизбежное, — конечно, можно сказать, рок, если тебе не неприятно, что я так выражаюсь (тут она всхлипнула несколько раз подряд), — это же была беда, змеиный яд, что я превратилась в женщину из хитроумно запертой, ничего не смыслящей девчонки, что мирно вкушала пищу у отцовского очага, прежде чем познать мужчину, который ввел ее в твои дела. Ах, твое дитя словно объелось бешеной вишни! Совсем, совсем оно переменилось! С той поры грех, в необоримой своей сладости, стал владыкой его раскрывшегося чувства. Не то чтобы я хотела вернуть эту резвую, хитроумную непочатость, которая была неведением, — нет, этого я не хочу, да это и невозможно, даже на краткий миг. Я ведь не знала этого человека в то время, не видела его, уж конечно нисколько о нем не думала, и моя душа была свободна от него и от жаркого желания прознать его тайны, так что я даже подшучивала над ним, а вообще-то смело и спокойно шла своей дорогой. Юноша явился к нам, с плоским носом, черноглазый, дивного сложения, Нанда из «Благоденствующих коров»; в праздник он качал меня на качелях до самого солнца, и оно меня не жгло. От прикосновений воздуха мне было жарко, больше ни от чего, и в знак благодарности я щелкнула его по носу. Потом он вернулся уже сватом Шридамана, своего друга, после того как наши родители договорились. Тут уже все было чуточку по-другому, — может, беда и коренится в тех днях, когда он сватался от имени того, кто должен был меня обнять как супруг; но тот еще не был здесь — только другой был.

Он был все время, перед свадьбой и во время свадьбы, когда мы ходили вокруг костра, и потом тоже. Днем, разумеется, а не ночью, ночью я спала с его другом, господином моим Шридаманом, и когда в брачную ночь мы спознались, точно божественная чета на усыпанном цветами ложе, он отомкнул меня своей мужскою силой, положил конец моему неведенью, потому что сделал меня женщиной и отнял у меня лукавую холодность девичьих лет. О, это он сумел, да и как же иначе, ведь он был твой сын и знал, как сделать радостным любовное соитие; что я его любила, почитала и боялась — об этом и говорить не приходится, — ах, святая Матерь, не такая уж я испорченная женщина, чтобы не любить своего господина и супруга и тем паче не бояться и не почитать его тонкую-претонкую, мудрую голову с мягкой такой бородой, точь-в-точь как его глаза, и веки, и тело, на котором все это держится. Только я хоть и почитаю его, а все время себя спрашиваю: да разве пристало ему сделать из меня женщину и просветить мою бойкую холодность страшной и сладостной тяжестью чувств? Мне все казалось, что не его это дело, что это его не достойно, низко для его мудрости, и в брачные ночи, когда его плоть восставала, мне все казалось, что для него это постыдно, унижительно для его высокоумудрия — и в то же время срам и унижение для меня, пробудившейся.

Вечная Матерь, так оно было, брани меня, покарай меня! Я, твоё создание, в этот страшный час без утайки признаюсь тебе, как обстояли дела, хоть знаю, что тебе и без того все открыто. Любовная страсть не подобала Шридаману, моему благородному супругу, его голове и даже телу, которое в этих делах — тут ты со мной согласишься — самое главное, совсем не подобало телу, что сейчас столь ужасно разъединено с принадлежащей к нему головой. Он даже не умел так сделать, чтобы я всем сердцем предалась любовному соитию; пробудить-то он меня пробудил для своего вожделения, но моего не утолял. Умилостивься, святая Матерь! Твое пробужденное создание больше вожделело, чем вкушало счастье, и желание мое было сильнее утех.

А днем, и вечером тоже, перед тем как идти спать, я видела Нанду, козьеносого нашего друга. И не только видела, я на него смотрела, как научили меня священные узы брака смотреть на мужчину, его испытывать; а потом мне в душу закрался вопрос: сумеет ли он сделать так, чтобы мое сердце билось при любовном соитии с ним, который и говорить-то не умеет так правильно, как Шридаман, и еще, как совершится божественная встреча с этим, а не с другим? Да, так думала о своем супруге я, несчастная, порочная, непочтительная! И еще говорила себе: все одно и то же! Ну где уж Нанде! Он ведь только что приятный с лица и на разговор, а твой господин и супруг — человек, можно сказать, высоких достоинств, — так где уж тут отличиться Нанде? Но мне это не помогало; вопрос о Нанде и мысль: как же под стать, без всякого стыда и унижения, будет любовное соитие его голове и членам и что он, значит, и есть тот, кто установит равновесие между моим счастьем и моей пробужденностью, — она, эта мысль, засела мне в плоть и кровь, словно крючок в рыбью глотку, и о том, чтобы его вытащить, нечего было и мечтать: ведь крючок-то был с закорючкой. Ну как мне было вырвать из души и тела вопрос о Нанде, если он всегда был при нас? Шридаман и он, хоть и совсем разные люди, никак не могли обойтись друг без друга. Каждый день я его видела, а ночью воображала, что это он со мною рядом, а не Шридаман. Когда я смотрела на его грудь, отмеченную «завитком счастливого теленка», на узкие его бедра и совсем маленький зад (у меня-то ведь зад большой, а у Шридамана чресла и зад как раз середка между мной и Нандой), я делалась сама не своя. Когда его рука касалась меня, все волоски на моем теле дыбом вставали от блаженства. Когда я воображала, как дивные ноги, на которых он ходил, от колен до ступни поросшие черными волосами, обовьют меня в любовной игре, у меня дух занимался и груди набухали от сладкой мечты. День ото дня становился он мне милее, и я только дивилась прежней немислимой своей неразбуженности, когда он качал меня на качелях, и ни он сам, ни запах горчичного масла, что источала его кожа, ничуть меня не трогали: как раджа гандхарвов Читрататха,[47 - ...раджа гандхарвов Читрататха... —

Гандхарвы — небесные певцы и музыканты из свиты Индры.] являлся он мне в неземном сиянии, как бог любви в своей красоте и юности, такой, что голова шла кругом, весь в дивных украшениях, цветочных цепях, в благоухании и любово-страстной прелести — Вишну, сошедший на землю в образе Кришны.

Потому, когда, бывало, Шридаман ночью прильнет ко мне, я бледнела от горя, что это он, а не другой, и еще закрывала глаза, чтобы думать — это Нанда меня обнимает. Иной раз ничего я не могла с собой поделать и в любовном пылу бормотала имя того, кто должен был бы, будь на то моя воля, распалить меня, так что Шридаман понимал: я прелюбодействую в нежных его объятиях; ведь я, на свою беду, говорю во сне, и, конечно, его оскорбленному слуху все стало ясно из моей болтовни. Я сужу по глубокой печали, которой он предался, и еще по тому, что он меня оставил в покое, больше ко мне не притрагивался. Нанда тоже ко мне не притрагивался — не потому, что его ко мне не тянуло, — еще как тянуло, уж я-то знаю, и не позволю себе клеймить его подозрением, что он не изо всех сил ко мне тянулся! Нерушимая верность другу — вот почему он бежал искушения! И я, верь мне, вечная Мать, — я, во всяком случае, в это верю, — я тоже, если бы эта попытка наконец обернулась попыткой, спровадила бы его из уважения к мудрой голове моего супруга. А так я вообще осталась без мужчины, и мы, все трое, только и знали, что жить в воздержании.

Вот при таких-то обстоятельствах, о Мать всего сущего, мы и тронулись в путь к моим родителям и, сбившись с дороги, набрели на твой дом. На немножко, сказал Шридаман, зайдет он в храм, чтобы мимоездом воздать тебе почести. Но в твоей подземной бойне, теснимый жизнью, совершил наипошамнейшее и лишил свои члены достопоштенной головы, или, вернее, отнял члены у высокоумной своей головы, а меня вверг в унылое вдовство. Горе оттого, что я от него отпала, да еще забота обо мне, преступнице, были причиной страшного деяния. Ты уж прости мне, великая Мать, правдивое слово: не тебе принес он себя в жертву, а мне и другу, чтобы могли мы сполна вкушать любовных радостей. А Нанда, который пошел его искать, не захотел иметь на совести эту жертву и тоже отсек голову от своего кришноподобного тела, так что ничего оно теперь не стоит. Но ничего — ровно ничего! — не стоит теперь и моя жизнь: я тоже словно обезглавленная — без мужа, без друга. Наверно, я провинилась в прошлой жизни и наказана этой бедой. И как же ты после всего этого удивляешься, что я собралась положить конец моей нынешней жизни?

— Ты любопытная гусыня и больше ничего, — рекла Мать громовым заоблачным голосом. — Просто смешно, что ты со своим любопытством вытворила из этого Нанды. С такими руками и на таких ногах по земле бегают миллионы моих сыновей, а ты из него сотворила себе гандхарву! В конце концов это даже трогательно, — добавил божественный голос уже несколько мягче. — Я, Мать, считаю, что любово-страстие, в сущности, трогательно и что его очень уж возвеличили. Но порядок, конечно, должен быть! — И голос вдруг опять сделался грубым и раскатистым. — Я есмь, конечно, беспорядок, и именно потому должна со всей решительностью требовать порядка и блюсти нерушимость брачного союза, это ты себе заруби на носу! Все ведь полетит вверх тормашками, если я дам волю своему добродушию! Но вот тобой я очень недовольна. Устраиваешь мне здесь фокус-покусы да еще говоришь дерзости. Ты изволила заметить, что мои сыны не мне принесли себя в жертву, не затем, чтобы ко мне прилила их кровь, а один, мол, тебе, второй же — первому. Что это еще за тон? Пусть-ка попробовал бы человек отрубить себе голову — не горло перерезать, а по-настоящему, как того требует жертвенный обряд, срезать себе голову с плеч — вдобавок еще человек просвещенный, как твой Шридаман, который и в любви-то не большой мастер, — если бы не было у него нужных для этого поступка силы и неистовства, которые я в него влила! Посему я запрещаю тебе этот тон, независимо от того, есть в твоих словах доля правды или нет. Ибо правда здесь может значить, что их поступок был продиктован смешанными

причинами, иными словами: это темный поступок. Не только затем, чтобы снискать мою милость, принес мой сын Шридаман себя мне в жертву, но еще с горя по тебе, может быть, и не отдав себе в этом отчета. А жертва маленького Нанды явилась лишь неизбежным следствием Шридаманова деяния. Потому я и не чувствую особой склонности принять их кровь и взглянуть на все это как на жертву. Если я отменю эту двойную жертву и все поставлю на свои места, могу я надеяться, что впредь ты будешь вести себя прилично?

— Ах, святая и милая Матерь! — вскричала Сита сквозь слезы. — Если ты можешь это совершить, можешь обратить страшные события вспять, вернуть мне мужа и друга, так что все опять будет по-старому, — как же я стану благословлять тебя, я даже во сне сдержу свой язык, чтобы больше не огорчать благородного Шридамана! Словами не скажешь, как я буду тебе благодарна, если ты это устроишь и все будет как было. Потому что, если все и обернулось очень печально, так что я, когда стояла у тебя между колен и смотрела на страшную картину, ясно поняла, что иначе это и не могло кончиться, то как же было бы замечательно, если бы твоей мощи достало на то, чтобы отменить такой конец, ведь в следующий раз все могло бы окончиться куда благополучней.

— Что значит «достало», «устроишь»? — отвечал божественный голос. — Надеюсь, ты не сомневаешься, что для моей мощи это сущий пустяк? С тех пор как стоит свет, я не раз это доказывала. Хоть ты этого и не заслуживаешь, но мне тебя жалко вместе со слепым и бледным росточком в твоём лоне, и обоих юнцов вон там тоже жалко. Посему наостри-ка уши и внимай тому, что я скажу! Придется тебе оставить эту лиану в покое и вернуться в мое святилище, пред мой лик и к зрелищу, которое ты там устроила. Там уж не изволь корчить из себя неженку и падать в обморок; ты возьмешь головы за чуб и опять пристроишь их к злосчастливым туловищам. Если ты при этом благословишь надрезы жертвенным мечом, сверху вниз, и дважды произнесешь мое имя — можешь называть меня Дурга, или Кали, или даже попросту Деви, это дела не меняет, — то юнцы воскрешены. Ты меня поняла? Головы к телам подноси не слишком быстро, несмотря на сильное притяжение, которое возникнет между головой и туловищем, дабы у пролитой крови хватило времени хлынуть вспять и вновь влиться в жилы. Это произойдет со сверхъестественной быстротою, но какое-то мгновение потребуется и здесь. Ты, надеюсь, меня слышала? Ну, беги! Да смотри, сделай свое дело аккуратно, а то заторопишься и неправильно приставишь головы, и будут они оба ходить с лицом на затылке и народ смешить. Иди! Если прождешь до завтра, будет поздно.

IX

Прекрасная Сита ничего не ответила, даже «спасибо» не сказала, она вскочила и пустилась бежать так быстро, как это ей позволяло сари, обратно в храм Матери Кали. Она пробежала предхрамие, а затем предвратный придел, ворвалась в материнское лоно и перед наводящим ужас ликом богини с лихорадочной поспешностью взялась за предписанный ей урок. Сила притяжения между головами и туловищами оказалась не столь велика, как о том говорила Деви. Ощутимой она, конечно, была, но не настолько, чтоб представлять опасность для своевременного возвращения крови вверх по желобам, что происходило с волшебной быстротой под частый-частый чавкающий рокот. Благословение мечом и имя богини, которое Сита с едва сдерживаемым ликованием выкрикнула даже по три раза на каждого воскрешаемого, безошибочно сделали свое дело: с крепко сидящими головами без порезов и шрамов восстали перед нею оба юноши, взглянули на нее, потом каждый глянул вниз на свое тело, вернее: сделав это, глянул на тело другого, ибо, чтоб увидеть себя, ему надо было глядеть на другого — такое уж у них получилось воскресение.

Сита, что ты натворила? Или что случилось? Или чему ты дала случиться, торопыга? Одним словом (попробуем поставить вопрос так, чтобы граница между поступком и случаем осталась подобающе зыбкой): что с тобой стряслось? Волнение, которое тебя обуяло, вполне понятно, но неужто ты не могла пошире раскрыть глаза, приступая к этому делу? Нет, головы своим юнцам ты не насадила задом наперед, лица у них не там, где должен быть затылок, — этого с тобою не случилось. Но, — пора уже сказать, как ты оплошала, назвать по имени невообразимое приключение, несчастье, беду, напасть, или как там теперь вы все трое захотите это называть, — голову одного ты насадила другому и еще накрепко ее приоблагословила: голову Нанды — Шридаману, если туловище его без самого главного еще можно именовать Шридаманом, и голову Шридамана — Нанде, ежели безголовый Нанда еще оставался Нандой, — короче говоря, не прежними восстали из мертвых муж и друг, а так сказать, в обратном порядке: узнаешь ли ты Нанду — если это Нанда с простонародным своим лицом — в рубахе и в подобии широких шаровар, облегающих изящное, с жирком, тело Шридамана; а Шридаман — если можно этим именем назвать фигуру, увенчанную нежной его головой; вот он стоит перед тобою на стройных и сильных ногах Нанды с «завитком счастливого тельца» под жемчужным ожерельем на «его» широкой и загорелой груди.

Какая напасть — из-за неразумной поспешности! Принесшие себя в жертву жили, но жили подмененные: тело мужа было увенчано головою друга, на теле друга красовалась голова мужа. Не диво, что несколько минут кряду в скалистом лоне отдавались изумленные возгласы этих троих. Юноша с головою Нанды, ощупывая себя, ощупывал тело, некогда бывшее незначимым придатком к мудрой голове Шридамана; а этот последний (если судить по голове), полный изумления, как свое собственное трогал тело, что в сочетании с миловидной головою Нанды играло когда-то первостепенную роль. Что касается учредительницы этого нового статуса, то она с криками восторга и отчаяния, кляня себя и взывая о прощении, металась от одного к другому, попеременно их обнимала и наконец бросилась им в ноги, чтобы, то всхлипывая, то смеясь, поведать о своих мучениях и ужасной оплошке.

— Простите меня, если можете! — восклицала Сита. — Прости меня, любезный Шридаман, — почтительно обратилась она к его голове и скользнула взглядом по телу Нанды, приданному этой голове, — прости и ты меня, Нанда, — она опять воззвала к соответствующей голове, которая, несмотря на ее незначительность, и теперь представлялась ей самым главным, тело же Шридамана, приданное этой голове, несущественным привеском. — Ах, вы должны найти в себе силы простить меня, если вы подумаете об ужасном деянии, на которое у вас достало сил в прошлом вашем воплощении, и об отчаянии, в которое вы меня ввергли, подумаете, что я совсем уже собралась удушиться, а затем у меня состоялся головокружительный разговор с громовым заоблачным голосом самой Неприкасаемой, то вы поймете, что, выполняя ее веления, я была не в себе, — у меня все плыло перед глазами, и я не отдавала себе отчета, что у меня под рукой — чья тут голова и чье тело... Я понадеялась на удачу, понадеялась, что свое найдет свое. Наполовину можно было подумать, что я все делаю правильно, и наполовину, что нет, — так вот все у меня и сошлось, да и у вас так все сошлось и прилепилось... Откуда же было мне знать, такая ли должна быть сила притяжения между головой и телом? Притяжение-то было, даже очень сильное, но в другом сочетании оно, возможно, было бы и еще сильнее. Неприкасаемая тут тоже немножко виновата, она меня только предостерегала, чтобы я не насадила вам головы задом наперед, об этом я и заботилась; что все может получиться так, как получилось, высокая Мать не подумала! Скажите, вы в ужасе от такого воскресения? Вы навеки меня проклинаете? Тогда я пойду вон из храма и завершу деянье, которое Бесконечная повелела мне прервать. Или вы в силах меня простить и считаете возможным, что в тех обстоятельствах, которые создал слепой рок, для нас троих может начаться новая,

лучшая жизнь, — я говорю лучшая, потому что прежнее наше положение так печально закончилось, и если бы оно восстановилось, то, по человеческому разумению, разве все опять не пришло бы к тому же самому? Ответь мне, Шридаман! Просвети меня, благородно сложенный Нанда!

Соревнуясь в милосердии, обмененные юноши склонились над нею, подняли ее, один руками другого, и все трое, смеясь и плача, обнялись, являя собой весьма трогательную группу. При этом стали очевидны два обстоятельства: первое, что Сита поступила правильно, обратившись к воскрешенным по их головам, ибо от голов все зависело, что, несомненно, головы определяли сущность, неповторимое «я», и Нандой чувствовал и признавал себя тот, на чьих узких и светлых плечах покоилась простонародная голова сына Гарги, а Шридаманом вел и держал себя тот, чьи великолепные, смуглые плечи несли на себе голову потомка брахманов; и второе: что оба они и вправду не гневались на Ситу за ее оплошку, напротив — от души радовались новым своим обличьям.

— Предпошлем, — сказал Шридаман, — что Нанда не стыдится тела, которое ему досталось, и не очень сожалеет о «завитке счастливого теленка» — это было бы мне огорчительно; я же, со своей стороны, могу только сказать, что отныне почитаю себя счастливейшим человеком. Я всегда мечтал именно о таком телесном воплощении, и когда я ощупываю мускулы на своих руках, смотрю на свои плечи или опускаю глаза, чтобы видеть великолепные свои ноги, меня обуревают неукротимая радость и я говорю себе, что отныне совсем по-иному, высоко, стану носить свою голову, во-первых, от сознания своей силы и красоты, а во-вторых, потому, что склонности моего духа будут теперь находиться в полном согласии с моим телесным складом, и уже нельзя будет счесть неподобающим или извращенным, если я стану под деревом ратовать за опрощение, за шествие коров вокруг горы Пестрая Вершина взамен суемудрых ритуалов, ибо теперь это мне подобает, — чужое отныне стало моим. Милые друзья, есть, конечно, и доля грусти в том, что чужое стало моим и нет у меня больше чего желать, чем восхищаться, разве только самим собой, и еще в том, что я более не служу другим, когда служение Горе превозношу над праздником Индры, а только тому, кем я стал. Да, признаюсь, мне немного грустно, что я теперь тот, каким всегда хотел быть. Но эта печаль далеко отступает перед мыслью о тебе, сладостная Сита, мыслью, которая для меня куда важнее размышлений о себе самом; я думаю о преимуществах, какие ты извлечешь из моего нового обличья, и заранее радостно ими горжусь. И что касается меня, то все это чудо я могу только благословить словами: «Сья, да будет так!»

— Ты мог бы, правда, сказать «Сьят!» после столь отлично построенной речи, — заговорил наконец Нанда, потупившийся при последнем слове друга, — не позволив своим устам подвергнуться воздействию моих простецких членов, из-за которых я тебе несколько не завидую, потому что они слишком даже долго были моими. Я тоже, Сита, ничуть на тебя не сержусь и в свой черед говорю «Сьят!» об этом чуде, потому что я всегда желал для себя такого изящного тела, какое мне теперь досталось. И когда я в будущем стану защищать премудрое учение Индры против поборников опрощения, мне это будет больше к лицу или, скажем, к телу, которое для тебя, Шридаман, всегда было второстепенным, для меня же самым главным. Я и не удивляюсь, что наши головы и тела, в попытках соединенные тобою, Сита, обладали такой силой взаимного притяжения; эта сила свидетельствовала о дружбе, которая связывала нас со Шридаманом, и я могу только надеяться, что ей не положит конец все случившееся. Но вот одно я должен сказать: моя бедная голова волей-неволей должна думать о теле, на которое она насажена, и отстаивать его права, поэтому я удивлен и огорчен, Шридаман, что ты как о чем-то само собой разумеющемся обмолвился о супружеской будущности Ситы. В моей голове это не укладывается, и ничего тут само собой не разумеется; напротив, это еще большой вопрос, и моя голова отвечает на него, видно, по-другому, чем твоя.

— Как так? — в один голос воскликнули Сита и Шридаман.

— «Как так»? — повторил subtilный друг. — Не понимаю, что тут спрашивать? Для меня всего важнее тело, и, значит, я раздумываю о смысле брака, в котором оно тоже всего важнее, потому что дети рождаются от тела, а не от головы. И хотел бы я посмотреть, кто теперь станет оспаривать, что я отец зернышка, созревающего в утробе Ситы.

— Сумасбродная твоя голова! — крикнул Шридаман и в сердцах дернулся своим могучим телом. — Подумай немножко, кто ты есть! Нанда ты или кто-нибудь еще?

— Конечно, я Нанда, — отвечал тот, — но раз я по праву называю это мужнее тело своим и говорю о нем не иначе, как «я», то и Сита, прекрасная, куда ни глянь, по праву — моя жена, а ее зернышко — мое творение.

— Ты полагаешь? — отвечал Шридаман дрогнувшим голосом. — Полагаешь, что так? Я бы не решился это утверждать в пору, когда твое нынешнее тело еще было моим и покоилось подле Ситы. Ведь, собственно, она не его обнимала, что, к величайшему моему горю, явствовало из ее шепота и бормотания, а то, которое я теперь называю своим. Нехорошо с твоей стороны, друг мой, что ты коснулся этой прискорбной истории и меня заставил говорить о ней. Ну можно ли так решительно утверждать: это-де моя голова, или, вернее, мое тело, и делать вид, что ты сделался мною, а я тобой? Совершенно ясно, что если бы здесь имел место обмен и ты сделался бы Шридаманом, супругом Ситы, я же стал бы Нандой, — то это бы значило, что никакого обмена не произошло и все осталось по-старому. Меж тем счастливое чудо как раз в том и состоит, что под руками Ситы произошел обмен только голов и членов, которому радуются наши мыслящие головы, ибо он послужит к радости пышнобедрой Ситы. Ты же, упрямо ссылаясь на свое супружеское тело и присваивая себе супружеские права, мне же отводя место друга дома, выказываешь непростительное себялюбие, думаешь только о своих сомнительных правах, а не о счастье Ситы и о тех преимуществах, которые воспоследуют для нее из этого обмена;

— Преимущества, — не без горечи возразил Нанда, — и то, что ты собираешься ими гордиться, словно они и впрямь твои, говорят о самом откровенном твоём себялюбии. И это же себялюбие виною тому, что ты так неправильно меня понимаешь. На самом деле я вовсе не полагаюсь на благоприобретенное супружеское тело, а только на свою собственную привычную голову, которая, как ты изволил заметить, служит всему мериллом и заодно с новым и более изящным телом делает меня Нандой. Ты очень несправедливо утверждаешь, что я меньше тебя заинтересован в счастье Ситы и в преимуществах, которые она может из всего этого извлечь. Когда она смотрела на меня в последнее время и со мной говорила сладостно-трепетным, звучным голосом, который я и слушать-то боялся, опасаясь, что стану так же отвечать ей, то она смотрела мне в глаза, своими глазами старалась читать в моих и называла меня «Нанда» и еще «милый Нанда», что мне казалось уже излишним, однако излишним не было, как я теперь понял, а, напротив, было исполнено величайшего значения. Ибо эти слова подтверждают, что она не имела в виду мое тело, которое само по себе, конечно, не заслуживает этого имени, как ты сам наилучшим образом доказал теперь, когда оно стало твоим, продолжая именовать себя Шридаманом. Я ей не отвечал или говорил в ответ только самое необходимое, чтобы не заразиться этим трепетом, этой звучностью, даже по имени ее не называл и отводил глаза, чтобы она ничего не прочитала в них, — все из дружбы к тебе, из уважения к твоему супружеству. Ну а теперь, когда глазам, в которые она так глубоко, так вопросительно заглядывала, голове, которой она говорила «Нанда» и «милый Нанда», еще придано тело супруга, а его телу голова Нанды, — теперь положение коренным образом переменяется в пользу мою и Ситы. И прежде всего в ее пользу! А раз уж мы так радеем о ее счастье и довольстве, то ничего лучше и совершеннее меня в

нынешних моих обстоятельствах для нее и не придумаешь.

— Нет, — возразил Шридаман, — право же, я от тебя этого не ожидал. Я боялся, что ты станешь стыдиться моего тела, но прежнее мое тело с тем же успехом могло стыдиться твоей головы; вот в каких ты запутался противоречиях, объявляя, по собственному усмотрению, то голову, то тело наиважнейшим в супружестве! Ты всегда был скромным юношей, а теперь дошел до вершин наглости и самодовольства, — подумать только, что ты выдаешь себя в нынешних твоих обстоятельствах за самое лучшее и совершенное из всего, что может составить счастье Ситы, хотя ясно, как дважды два, что один я могу ей предложить наилучшие, то есть наиболее радостные и успокоительные, условия для счастья! Но, право же, бессмысленно и безнадежно дальше тратить слова. Вот она стоит, Сита. Пусть сама скажет, кому ей принадлежать, пусть будет судьей над нами и нашим счастьем.

Сита в смятении смотрела то на одного, то на другого. Потом она закрыла лицо руками и стала плакать.

— Не могу я, — рыдала она. — Пожалуйста, не принуждайте меня решать, я всего-навсего бедная женщина, и мне это слишком тяжело. Поначалу мне все казалось легко, и хоть я и очень стыдилась своей ошибки, но все-таки радовалась ей, особенно когда видела, что и вы оба рады. Но от ваших речей у меня голова идет кругом и сердце разрывается так, что одна половина спорит с другой, точь-в-точь как вы спорите. В твоих словах, достопочтенный Шридаман, немало правды, хоть ты и позабыл сказать, что я могу вернуться домой только с тем супругом, у которого твои черты. Но доводы Нанды тоже в какой-то мере меня трогают, и когда я вспоминаю, как печально и безразлично было мне его тело без головы, то я думаю, что он прав, и я, наверно, прежде всего имела в виду его голову, однажды сказав ему «милый Нанда». Но если ты говоришь о спокойствии, милый Шридаман, спокойствии в счастье, то ведь это еще большой вопрос, и очень трудно ответить, что даст моему счастью больше спокойствия: тело супруга или его голова. Нет уж, не мучайте меня, я все равно не в силах вас примирить и понятия не имею, кто из вас двоих мой супруг.

— Если так обстоит дело, — сказал Нанда, растерянно помолчав, — и Сита ничего не может решить, не может рассудить нас, тогда решение должно быть вынесено третьей, вернее, четвертой стороной. Когда Сита сейчас сказала, что ей можно вернуться домой только с тем супругом, у которого будут черты Шридамана, мне подумалось: зачем нам возвращаться домой, мы будем жить в уединении, если покой и счастье она найдет во мне, своем телесном супруге. Я давно уже носился с мыслью об уединенном житии в пустыне и уже не раз намеревался стать отшельником, когда голос Ситы внушал мне опасения за верность дружбе. И вот я свел знакомство с неким подвижником особо святой жизни по имени Камадамана, дабы получить от него наставление относительно жизни в безлюдье, и посетил его в лесу Дандака, где он обитает и где кругом полным-полно святых. Вообще-то его имя просто Гуа, но он присвоил себе отшельническое имя, Камадамана, и хочет, чтобы так его и звали, если вообще дозволяет к себе обратиться. Уже много лет он живет в лесу Дандака, строго блюдя обеты омовений и молчания, и, думается мне, уже близок к преображению. Давайте же поедем к этому мудрецу — он знает жизнь, он сумел ее преодолеть — и расскажем ему о случившемся с нами, поставив его судьей над счастьем Ситы. Пусть он решит, если, конечно, вы оба на это согласны, кто из нас двоих ее супруг; и да будет нерушим его приговор.

— Да, да, — с облегчением воскликнула Сита. — Нанда прав, поедем к святому старцу.

— Поскольку речь здесь идет о спорном вопросе, — сказал Шридаман, — который, видимо, должен быть решен не нами, то я вполне одобряю это предложение и обещаю

подчиниться приговору мудреца.

И так как в этом пункте они пришли к согласию, то все вместе покинули храм Матери Кали и вернулись к своей повозке, все еще дожидавшейся их внизу, у входа в пещеру. Но здесь тотчас же возник вопрос, кому из мужчин взять на себя обязанности возницы: ибо, с одной стороны, это дело телесное, с другой же — для него нужна голова, а Нанда знал дорогу в лес Дандака, до которого было два дня пути, она была у него в голове; по телесной же стати Шридаман больше подходил к тому, чтобы править упряжкой, отчего Нанда до сих пор и исправлял эти обязанности. Но теперь он уступил их Шридаману, а сам с Ситой уселся позади и только указывал ему, куда ехать.

Х

Влажно-зеленый лес Дандака, до которого наши друзья добрались лишь на третий день, был изрядно населен святыми; но в то же время он был настолько велик, что каждому из них предоставлял волю одиночества, да еще целый кусок грозного безлюдья. Нелегко пришлось паломникам, покуда они, от отшельника к отшельнику, дознавались, где обитает Камадамана, укротитель желаний, потому что все эти подвижники ничего не хотели знать друг о друге и каждый твердо стоял на том, что он одинок в громадном лесу и что его окружает полнейшее безлюдье. Лес обитали святые разных степеней: были среди них такие, что прошли через житейскую ступень «отца семейства» и остаток жизни, иногда даже вместе с женой, посвящали умеренному созерцанию, но были и вконец одичавшие, устремленные к последней одухотворенности йоги,^[48 - Йоги — последователи одной из школ в индийской философии, ставившей себе целью полное слияние, отождествление человеческой души с божеством путем особой, детально разработанной системы аскетических упражнений.] которые почти полностью обуздали резвость своих чувств, изнуряя плоть до последней крайности, и во исполнение нещадных обетов совершали наимрачнейшие деяния. Они неистово постились, в дождь, нагие, спали на земле, в холодное время года носили только мокрую одежду и, напротив, в летнюю жару садились меж четырех костров, дабы растопить свою земную материю, которая и вправду частично стекала с них, частично же растворялась в иссушающем жаре; но они подвергали ее еще и дополнительному истязанию, целыми днями взад и вперед катались по земле или пребывали в непрерывном движении, быстро садясь и вставая, садясь и вставая. Если же при таких упражнениях их одолевала хворь, а значит, открывались виды на скорое преображение, они совершали последнее паломничество на северо-восток, питаясь уже не травами и клубнями, а только водой и воздухом, покуда тело не отказывалось служить им, а душа не воссоединялась с Брахмой.

Итак, жаждущие наставления встречали на своем пути через наделы отъединенности святых такого рода, и других родов тоже, после того как оставили свою повозку на опушке леса праведников у одного отшельнического семейства, что жило там сравнительно вольной жизнью, не вовсе воздерживаясь от соприкосновения с внешним миром. Как уже сказано, трудно было троим нашим героям разыскать пустынь, обитаемую Камадаманой; Нанда, правда, однажды уже прошел к нему через бездорожье, но теперь у него было другое тело, и его зрительная память заметно притупилась. Те же, что жили в лесу, на деревьях и в дуплах, прикидывались несведущими или же на самом деле ни о чем не ведали, и только с помощью жен прежних «отцов семейств», которые из-за спины своих повелителей по доброте душевной пальцем показывали направление нашим путникам, добрались они наконец, после того как еще целый день проплутали по лесу, до обители святого и, к великой своей радости, увидели его убеленную сединами голову и подъятые к небу руки, больше похожие на иссохшие сучья, торчащие из большой болотистой лужи, где он, в предельной духовной сосредоточенности, стоял по шею уже

невесть сколько времени.

Благоговевая перед испепеляющей силой подвижничества, они не посмели его окликнуть и терпеливо дожидались, когда он прервет свое занятие, а это, потому ли, что он их не заметил, или именно потому, что заметил, случилось очень не скоро. С добрый час пришлось им на почтительном расстоянии от лужи дожидаться, покуда он не вышел из нее, совершенно голый, с илом, налипшим на бороду и те волосы, что растут на теле. Так как это тело, почти вовсе не имея мяса, состояло лишь из костей да кожи, то в его наготу, собственно, ничего предосудительного не было. Схватив метлу, которая лежала на берегу, он перед каждым шагом по направлению к ожидающим мел перед собою землю, и они прекрасно поняли — это делалось для того, чтобы не раздавить стопою какую-нибудь живую тварь, случайно под нее подвернувшуюся. С незваными гостями он поначалу обошелся не столь милосердно, даже погрозил им метлой, отчего возникла опасность, что под его ногами может случиться нечто непоправимое, и крикнул:

— Вон отсюда, зеваки и бездельники! Что вам понадобилось в моей пустыни?

— Победитель желаний, Камадамана, — отвечал Нанда с великой скромностью, — прости нас, жаждущих наставления, за дерзостный приход! Слава о твоём самообуздании привлекла нас, но пригнали нас сюда горести жизни во плоти, касательно которых ты, могучий бык среди мудрейших, можешь рассудить нас, подарить нас советом, если будет на то твое соизволение. Будь же так добр и вспомни меня! Я уже однажды дерзнул к тебе явиться, чтобы получить наставление о жизни в пустыни.

— Все может быть, ты мне как будто знаком, — отвечал пустынный, воззрившись на него из-под устрашающе кустистых бровей своими глубоко запавшими глазами. — Судя по чертам лица, ты словно бы и правду говоришь, но твоя фигура за это время стала много тоньше, что, видимо, явилось следствием твоего тогдашнего посещения.

— Оно благотворно подействовало на меня, — уклончиво отвечал Нанда, — но изменение, которое ты во мне заметил, стоит в связи еще кое с чем другим, с неким горестным и чудесным событием, оно-то и принудило нас троих прийти сюда в жажде наставления. Это событие поставило нас перед вопросом, который мы сами разрешить не в силах, и потому нам необходимо узнать твое мнение, услышать твой приговор. Мы сейчас стоим и думаем, достанет ли твоего самообуздания на то, чтобы побороть свой гнев и выслушать нас.

— Достанет, — отвечал Камадамана. — Никто не вправе утверждать, что его не достало. Если первым моим порывом было изгнать вас из пустыни, которую я обитаю, то и этот порыв подлежит обузданию, и этому искушению я желаю противостоять. Ибо если подвижничество — бежать людей, то еще большее подвижничество — принимать их у себя. Смеею вас заверить, что ваша близость и угар жизни, которым от вас несет, камнем ложатся мне на сердце и самым нежелательным образом нагоняют румянец на мои щеки, что вы, конечно бы, заметили, не будь мое лицо вымазано пеплом, как то и подобает отшельнику. Я согласен снести ваше угарное посещение и, прежде всего, потому, что, как я уже давно заметил, в вашей троице есть женщина, женщина такой стати, которая чувствам представляется царственной, стройная, как лиана, с пышными бедрами и полными грудями. О да, да! О фу-у! Середина ее тела прекрасна, лицо исполнено прелести, с глазами, как у куропатки, а груди у нее (меня потянуло еще раз выговорить это слово) налитые и упругие. Добрый день, о женщина! Правда ведь, что у мужчин, стоит им завидеть тебя, волосы на теле встают дыбом от похоти, и все ваши беды, разумеется, восходят к твоему источнику, о сладостная ловушка! Привет тебе! Этих парней я бы, конечно, прогнал ко всем чертям, но раз уж ты пришла с ними, дорогая, то оставайтесь здесь, гостите сколько вашей душе угодно — с истинным радушием прошу

вас, пожалуйста ко мне; перед дуплом, которое служит мне обиталищем, я попотчую вас ягодами; я насобирал их в листья не затем, чтобы есть, а чтобы устоять перед соблазном и, глядя на них, удовольствоваться земляным клубнем, потому что этот скелет время от времени все же требует подкорма. И вашу историю, от которой на меня, конечно, повеет удушливым чадом жизни, я выслушаю — слово за словом буду внимать ей, ибо никто не смеет заподозрить Камадаману в трусости. Конечно, трудно отличить бесстрашие от любопытства, и подозрение, будто я стану внимать вам, потому что изголодался в своем уединении и сделался охоч до историй, отдающих жизненным угаром, — это подозрение должно быть отвергнуто наравне с другим, будто, отвергая его, я только потворствую своему любопытству, так что отвергать, собственно, следовало бы уже любопытство, но, спрашивается, куда ж тогда пристроить бесстрашие? Это ведь в точности как с ягодами, я их ставлю перед собою не столько для отказа от них, сколько для того, чтобы на них любоваться, и тут я бесстрашно могу возразить, что в любованье-то и заключено искушение съесть их и что, не поставив их перед собою, я очень облегчил бы свой урок. При этом, конечно, начисто отвергается подозрение, что я просто все это выдумал, дабы иметь возможность созерцать лакомое блюдо, — или вот как теперь, когда я, хоть сам и не притрагиваюсь к ягодам, но, потчюя ими вас, нахожу удовольствие в том, чтобы смотреть, как вы ими лакомитесь, что — перед лицом обманчивого характера мирового разнообразия и различия между Я и Ты — почти равнозначно тому, что я сам их поедаю. Короче говоря, подвижничество — это бездонная бочка, ибо искушения духа здесь мешаются с чувственными искушениями, и справиться с этим так же трудно, как со змеей, у которой вырастают две головы, когда отсечешь ей одну.[49 - ...со змеей, у которой вырастают две головы, когда отсечешь ей одну. — Речь идет о легендарном тысячеголовом царе змей, повелителе подземного мира, Шеша, на котором покоится Вишну, спящий в промежутках между периодами творения мира.] Но этому так и быть должно, главным же остается бесстрашие. Посему идите за мной, о люди обоих полов, явившиеся из житейского чада, идите за мной к дуплу, моему обиталищу, и можете рассказывать о вашей житейской грязи сколько вам угодно, — для самобичевания я буду слушать вас, отмечая, однако, подозрение, будто мне это доставляет удовольствие; несть числа желаниям, кои нам следует умерщвлять.

С этими словами святой повел их, тщательно подметая землю, прежде чем сделать следующий шаг, к своему обиталищу — могучей и древней чинаре, еще зеленеющей, несмотря на зияющую пустоту в стволе, к дереву, мшистую внутренность которого Камадамана избрал своим домом, — не затем, чтобы искать там спасения от непогоды, ибо он всегда позволял ей лютовать над своим телом, жару усиливая огнем костров, а холод мокрым платьем, но лишь затем, чтобы знать, где его кров, и еще затем, чтобы держать там запас корней, клубней и плодов, необходимых ему для поддержания жизни, а также запас хвороста, цветов и трав для жертвоприношений.

Здесь он предложил сесть своим гостям, которые, узнав, что они не более как предлог для подвижничества, держались в высшей степени скромно, и подал им, как было обещано, спелые ягоды, весьма приятно их подкрепившие. Сам он тем временем встал в аскетическую позицию, так называемую «позицию кайотсарги»:[50 - Кайотсарга — одно из положений тела, входящих в систему упражнений йогов.] не шевеля ни единым членом, воздел кверху руки и, прогнув вовнутрь колена, даже пальцам ног, не говоря уж о руках, сумел придать установленное положение. Сосредоточив свой дух, он замер, нагой (впрочем, в его наготу, как уже сказано, не было ничего предосудительного), а великолепно сложенный Шридаман, которому, из-за его мудрой головы, выпала честь обо всем поведать отшельнику, рассказал историю, заставившую их прийти сюда, ибо она в конце концов свелась к спорному вопросу, разрешить который можно было только извне с помощью судии или святого.

Он рассказал ее последовательно и правдиво, как это сделали мы, и даже почти в тех же

самых словах. Для того чтобы спорный вопрос стал понятен, достаточно было рассказать только последнюю ее стадию, но, желая хоть немножко развлечь святого в его уединении, он поведал все, от самых истоков, как то сделали мы на этих страницах, начав с Нанды и его образа жизни, потом перейдя к дружбе между ними и привалу у речки Золотая Муха, далее о своей любовной болезни, сватовстве и женитьбе; в подобающем месте он обратился к прошлому и сделал отступление, рассказав, как Нанда познакомился с прелестной Ситой и качал ее на качелях, упомянул о горестях своей брачной жизни, но очень деликатно, вскользь, — не столько щадя себя, ведь его-то здесь были только сильные руки, что качали Ситу, да тело, о котором она грезила в объятиях его прежних рук, сколько из уважения к Сите, ей ведь все это не могло быть приятно, и, покуда длился рассказ, она сидела, закрыв лицо и головку своим расшитым платком.

Дюжий Шридаман благодаря своей голове оказался превосходным, искусным рассказчиком. Даже Сита и Нанда, — им ведь все было точно известно, — затаив дыхание, слушали страшную повесть о себе, и надо полагать, что Камадамана, хоть он ничем не выдал себя, все время стоя в позиции Кайотсарги, тоже был захвачен ею. После того как рассказчик воссоздал грозное деяние свое и Нанды, поведал о милости, ниспосланной богиней на Ситу, а также о вполне простительной ошибке последней, когда она их восстанавливала, рассказ, естественно, подошел к концу и, следовательно, к основному вопросу.

— Так вот и получилось, — сказал он, — что голове мужа досталось тело друга, а телу друга мужняя голова. Ты ведь мудрец, святой Камадамана, помоги же нам разобраться в этой путанице! Как ты скажешь, так тому и быть, мы сами все равно ничего решить не сумеем. Кому, скажи, принадлежит эта женщина, прекрасная, куда ни глянь, и кто по праву ее муж?

— Да, скажи нам, покоритель желаний, — в свою очередь воскликнул Нанда с подчеркнутой уверенностью, Сита же ограничилась тем, что сорвала с головы платок и в трепетном ожидании воззрелась на Камадамана глазами, похожими на цветок лотоса.

Отшельник сжал растопыренные пальцы рук и ног и глубоко вздохнул. Затем вооружился метлой, расчистил от уязвимых тварей маленький клочок земли и уселся подле гостей.

— Уф! — произнес он. — Ну и разодолжили! Я, конечно, был готов услышать угарную историю, но тут уж чад повалил из всех пор брэнной плоти. И меж моих четырех костров в разгаре лета, право же, легче дышится, чем в вашем чаду. Если бы мое лицо не было вымазано пеплом, вы бы увидели багряный жар, которым ваша история зажгла мои изможденные щеки, вернее, скулы, покуда я, для обуздания чувств, внимал ей. Ах, дети, дети! Носит вас, точно быков, что с завязанными глазами крутят маслобойку, вокруг колеса всего сущего, и при этом вы еще кряхтите от усердия, и в ваше тело, которое и без того зудит, впиваются бичи шести работников маслобойки, иными словами — страстей. Неужто нельзя вам с этим покончить? Или вам непременно надо пялить глаза, суесловить и исходить слюной, когда при виде обманчивого соблазна у вас от похоти колени подгибаются. — Ну да, ну да, ну вот, ну вот, я знаю все наперечет: и лоб в испарине вожделенья, и тела лоснящегося движенья, и трепетный нос, и покатоности плеч, и губ горячих бессвязную речь, и сладостных грудей наготу, и дебри подмышек в любовном поту! И рук блуждающих маета, и гладкость бедер и живота, и жарких касаний двойная услада, прохладная прелесть прекрасного зада, и напряженное до предела, похотью душной объятое тело, и нетерпенья блаженный миг, и заплетающийся язык, и седьмое небо, и то, и се — ну, как же, как же, знакомо все.

— Но это ведь мы и сами знаем, великий Камадамана, — сказал Нанда с подавленным

нетерпением в голосе. — Не будешь ли ты так добр произнести приговор и объявить нам, кто же, собственно, муж Ситы, дабы мы наконец это узнали и могли бы соответственно вести себя?

— Приговор уже все равно что произнесен, — отвечал святой. — Здесь все ясно как на ладони, и остается только удивляться, до чего же мало вы смыслите в порядке и в праве, если для такого самоочевидного дела вам понадобился судья. Эта лакомая приманка вон там, разумеется, жена того, кто несет на своих плечах голову друга. Ибо во время обряда бракосочетания жених протягивает невесте правую руку; рука принадлежит туловищу, а туловище — другу.

С ликующим криком вскочил Нанда на свои точеные ноги, тогда как Сита и Шридаман, не поднимая взоров, остались сидеть на земле.

— Но это только присказка, — возвысив голос, продолжал Камадамана, — сказка впереди, и она будет присказки почище, похлеще и в своей правде — резче. Не спешите, прошу вас!

С этими словами он поднялся, пошел к дуплу, вытащил из него какую-то вещицу — это был лубяной передник — и прикрыл им свою наготу. Затем он сказал:

Сомнений нет. Супругом назову
Того, кто носит мужнюю главу:
Как радостей земных венец и кладезь — женщина,
Так наше тело головой увенчано.

Теперь пришел черед Ситы и Шридамана вскинуть головы и обменяться счастливыми взглядами. А Нанда, который успел уже так сильно обрадоваться, проговорил тонким голосом:

— Поначалу ты сказал совсем другое!

— Внемлите лишь последним моим словам.

Так решилась их судьба, и Нанда в своей благоприобретенной утонченности не смел проявлять недовольство, ибо это он настоял на том, чтобы призвать святого в судьи, — совершенно независимо от безусловно галантного обоснования, которое тот дал своему приговору.

Все трое отвесили поклон Камадамане и покинули его обитель. Но когда они снова пустились в путь по влажно-зеленому лесу Дандака, Нанда вдруг остановился и стал прощаться с ними.

— Всего доброго! — сказал он. — Я теперь пойду своей дорогой. Хочу сыскать себе пустынь и сделаться отшельником, это ведь уже давно входило в мои намерения. Вдобавок, в нынешнем моем воплощении, я считаю себя, пожалуй, слишком хорошим для мира.

Двое других не стали оспаривать его решения; хоть им и взгрустнулось, но они очень дружелюбно обошлись с тем, кто решил отступить. Шридаман одобрительно похлопал его по хорошо знакомому плечу и, из старой приязни, с заботливостью, которую один человек не столь уж часто выказывает в отношении другого, посоветовал ему не подвергать свое тело чрезмерным испытаниям и не есть слишком много клубней, так как столь однообразная пища, он это хорошо знает, несомненно, пойдет ему во вред.

— Позволь уж мне жить своим умом, — сердито отвечал Нанда, и когда Сита собралась подарить его несколькими словами утешения, он тоже лишь печально покачал головой, украшенной козым носом.

— Не принимай всего этого близко к сердцу, — сказала она, — и подумай, что тебе в конце концов не столь уж много недостает и что, собственно, это ты будешь делить со мною ложе супружеских утех в освященные законом ночи! Будь покоен, то, что некогда было твоим, я снизу доверху обовью самой сладостной нежностью и за радость сумею отблагодарить рукою и ртом со всей изысканностью, какой только угодно будет Вечной Матери обучить меня.

— Мне от этого проку нет, — упрямо отвечал Нанда. И даже когда она украдкой шепнула ему: «И твоя голова будет время от времени грезиться мне», — он продолжал стоять на своем и лишь упорно и с печалью твердил: — Мне от этого проку не будет!

Так разошлись они в разные стороны, двое и один. Но Сита вдруг снова побежала за этим одним, когда он ушел уже довольно далеко, и обвила его руками.

— Будь счастлив, — сказала она. — Ты был первым мужчиной, который пробудил меня и научил всему, что я знаю в сладострастии, и что бы там ни плел усохший святой насчет женщины и головы, зернышко, зреющее у меня под сердцем, — оно от тебя.

XI

Вернувшись в «Обитель благоденствующих коров», Сита и Шридаман проводили время в чувственном упоении, и поначалу ни единая тень не омрачала светлые небеса их счастья. Словечко «поначалу», недобрый облаком набежавшее на эту безмятежную лазурь, собственно, прибавлено нами от себя, а мы ведь, рассказывая эту историю, находимся вне ее, те же, что в ней жили и чьей историей она была, понятия не имели о каком-то там «поначалу» и знали только о своем счастье, которое было обоюдным и, можно даже сказать, невероятным.

Поистине это было счастье, едва ли встречающееся на земле и скорее возможное в раю. Заурядное земное счастье, иначе удовлетворение желаний, сужденное большинству отпрысков рода человеческого, подчиняется известному порядку, закону, благочестию, принудительному обычаю, иными словами, оно стеснено и умерено, со всех сторон обведено чертой запрета и неперемennого самоограничения. Жестокая необходимость, отказ, отречение — удел смертного. Наше вожделение беспредельно, удовлетворению его, напротив, положены теснейшие пределы, и настойчивое «о, если бы» везде и всюду натывается на железное «не подобает», на черствое «довольствуйся тем, что есть». Кое-что нам дозволено, многое, почти все, запрещено, и навек несбыточной остается мечта, что запретное вдруг обернется дозволенным. Райская мечта, ибо в том, вероятно, и заключаются блаженства рая, что дозволенное и запретное, столь раздельно существующие здесь на земле, там срастаются воедино и чело прекрасного подзапретного венчает корона дозволенного, за дозволенным же сохранена еще и прелесть подзапретного. Как иначе может бедный человек представить себе райские блаженства?

Точь-в-точь такое счастье, какое принято обозначать словом «неземное», прихотливый рок послал супружеской чете, вернувшейся в «Обитель благоденствующих», и они большими глотками впивали его — поначалу. Муж и друг были разнолики и различны для

Ситы-Пробужденной, — а теперь они слились воедино, и это слияние, по счастью, произошло так, — да иначе вряд ли и могло произойти, — что лучшее в обоих, главные преимущества каждого в отдельности счастливо сочетались и образовали новое, всем желаниям удовлетворявшее единство. По ночам, на законном супружеском ложе, она извивалась в могучих руках друга и принимала его усладу не как прежде, когда на хилой груди мужа только грезилась о ней с закрытыми глазами, а в благодарность все же целовала уста внука брахманов, — счастливейшая женщина на земле, ибо ей достался супруг, сплошь состоящий, если можно так выразиться, из преимуществ.

А как в свою очередь доволен, как горд был преображенный Шридаман! Ему не приходилось опасаться, что это преображение покажется странным, а не только приятным его отцу Бхавабхути или его матери, — имя ее здесь не названо потому, что она и вообще-то играла весьма скромную роль, — или еще кому-нибудь из жителей прихрамового селения. Мысль, что со столь благоприятной телесной переменой дело нечисто, то есть, что ей поспособствовало нечто не вполне естественное (как будто так уж важно, чтобы все совершалось естественным путем), пожалуй, могла бы у кого-нибудь зародиться, если бы подле Шридамана находился соответственно преобразившийся Нанда. Но Нанда скрылся из поля их зрения, сделался лесным отшельником, а об этом своем намерении он уже не раз заявлял и раньше.

Перемена, совершившаяся с ним, рядом с переменной его друга, может быть, кому-нибудь и бросилась бы в глаза, но Нанду никто не видел, видели здесь только Шридамана — посмуглевшего, сильного, во всей красоте его новой стати, которую, в случае если бы ее и заметили, конечно, приписали бы зрелости, наступившей в счастливом браке. Само собой разумеется, что властелин Ситы продолжал одеваться в соответствии с законами своей головы и ходил не в набедренной повязке Нанды, не в его запястьях и ожерельях, а теперь, как и прежде, в широких штанах и холщовой рубаше. Но главным доказательством его тождества в глазах людей, конечно, служила не допускающая никаких сомнений голова. Если ваш порог переступил брат, сын или земляк, то, увидев на его плечах хорошо знакомую голову, даже если в остальном он будет выглядеть несколько непривычно, вы ни на мгновение не усомнитесь в том, что этот человек и есть ваш брат, сын или земляк!

Прославлению супружеского счастья Ситы мы отвели первое место, ибо и Шридаман после своего превращения думал главным образом о радостях, воследовавших из этого для его возлюбленной супруги. Но и его счастье, — впрочем, это само собой разумеется, — ничуть не уступало счастью Ситы и также носило райский характер. Трудно, очень трудно заставить внимающих рассказу перенестись в ни с чем не сравнимое положение любовника, который, впад в глубокое уныние, должен был бежать ласк возлюбленной, ибо понял, что она тоскует по другим объятиям, а потом вдруг сам оказался в состоянии предложить ей то, чего она так страстно жаждала. Мало того, что мы привлекли внимание наших слушателей к счастью Шридамана, мы еще попытаемся доказать, что оно превышало счастье Ситы. Любовь, которою проникся Шридаман к златокожей дочери Сумантры, после того как увидел ее во время священного омовения, — любовь столь пламенно-суровая, что для него она, к простодушному удивлению и веселью Нанды, приняла обличие болезни и убеждения, что ему должно умереть, — это горячее, болезненно-страстное чувство, зажженное прелестным образом девушки, образом, которому он, однако, тщился придать незаурядное достоинство, — короче говоря, это воодушевление, порожденное встречей духа с чувственной красотой, было тесно связано со всей его своеобразной личностью, но прежде всего с его брахманской головой, которую богиня Речи одарила такой исступленностью мысли, такой силою воображения, что, как это с полной несомненностью выяснилось в браке, хилое тело, носившее ее, никак не могло за ней угнаться. Так вообразим же теперь степень удовлетворенности, испытываемой человеком, чьей пламенно-изысканной голове,

предрасположенной к глубоким и серьезным размышлениям, придано бодрое простонародное тело, тело, исполненное первобытной силы, которое способно всегда и во всем споспешествовать духовным страстям этой головы.

И, конечно, бессмысленной была бы попытка представить себе блаженства рая, иными словами — жизнь в божественной роще «Радость», иначе как в образе полного счастья.

Даже омрачающее «поначалу», разумеется, неведомое в горних странах, собственно, не делает разницы между «здесь» и «там», поскольку оно исходит не из сознания любящих, а из господствующего над ним сознания рассказчика и, следовательно, несет с собою лишь повествовательное, а не личное омрачение. И все же надо сказать, что очень скоро это «поначалу» стало просачиваться в личное, более того, — с первых же мгновений и здесь уже играло свою роль, по-земному ограничивающую, по-земному обуславливающую и не вяжущуюся с понятием рая. Приходится еще отметить, что пышнобедрая Сита допустила ошибку, выполнив милостивое приказание богини таким образом, каким это случилось с нею, — и притом случилось не потому, что она действовала в слепой поспешности, но потому, что действовала не только в слепой поспешности. Эта фраза хорошо нами продумана, и желательно, чтобы она была столь же хорошо понята.

Нигде не сказывается сохраняющее мир волшебство Майи, основной жизненный закон мечты, морока, самовнушения, что держит в плену все живое, — ярче, насмешливее, чем в любовной тоске, в таинственном вожделении одного существа другим, вожделении, которое является смыслом и примерным образцом всего, что продолжает свой род, всех соитий и всех соблазнов, всего, что влачит убогую жизнь и нуждается в прельстительном обмане для того, чтобы жить и впредь. Недаром Утеха — хитроумная жена бога любви, и недаром эта богиня зовется «Одаренная Майей», ибо она, а никто иной делает видения прелестными и вожделенными, вернее сообщает им такую видимость; да и в самом слове «видение» уже содержится чувственный элемент видимого, а «видимое» в свою очередь сближается с «видным», иными словами — с прекрасным. Это Утеха, божественная шутница, явила на берегу речки Золотая Муха обоим юношам, и в первую очередь созревшему для воодушевления Шридаману, мерцающее красотой, благоговейно волнующее, достойное молитвенного преклонения тело Ситы. И здесь надо вспомнить, как счастливы и благодарны были друзья, когда купальщица обратила к ним голову и они убедились, сколь прелестны ее носик, уста, глаза и брови, иными словами, что сладостное тело не унижено, не испорчено некрасивым лицом, — непременно надо об этом вспомнить, чтобы понять: человек одержим не столько предметом своего вожделения, сколько вожделением как таковым, и жаждет не отрезвления, но хмеля и любовной тоски, пуще всего страшась разочароваться, то есть освободиться от морока.

Теперь обратите внимание на то, в какой мере волнение юношей, окажется ли и мордочка купальщицы столь же прелестной, доказывает зависимость тела (его смысла и ценности, предусмотренных Майей) от головы, которой оно принадлежит! Прав был Камадамана, укротитель желаний, объявив голову наиважнейшим из членов человеческого тела и на этом утверждении построив свой приговор. Да, голова и вправду определяет сущность и любовную ценность тела, и недостаточно сказать, что тело становится другим, будучи связано с другою головой, — куда там: допустите, что изменилась одна только черта, одна выразительная складочка на лице, и это уже значит, что изменился весь облик человека. В том-то и заключалась ошибка, по ошибке совершенная Ситой. Она почитала себя счастливой, что совершила ее, ибо райским блаженством (и, видимо, уже заранее!) представлялась ей возможность обладать телом друга под знаком мужней головы. Но Сита не подумала, — так как поначалу счастье, которым она наслаждалась, не допускало этой мысли, — что тело Нанды в единении с узконосой головой Шридамана, с его кротким задумчивым взором и шелковистой веерообразной бородкой, уже не то самое,

жизнерадостное тело, а тело совсем другое.

Другим было оно с первой минуты, по самой своей Майе. Но не только о ней здесь речь. Ибо с течением времени — времени, которое Сита и Шридаман поначалу проводили в упоении сладострастием, в несравненных любовных восторгах, — вожденное и наконец-то обретенное тело друга (если тело Нанды под знаком головы Шридамана можно было еще считать телом друга, поскольку пребывавшее вдали тело законного мужа принадлежало теперь другу), — итак, с течением времени, и притом недолгого, тело Нанды, увенчанное достопочтенной головою супруга, совершенно независимо от какой бы то ни было Майи, мало-помалу сделалось иным — то есть под влиянием головы и диктуемых ею законов сделалось привычным мужним телом.

Таков общий удел, обычная перемена в браке. Печальный опыт Ситы в этом отношении мало чем отличался от опыта других женщин, которые в привычном супруге очень скоро перестают узнавать игривого, пламенного юношу, некогда за них посватавшегося. Но здесь зауряд-человеческое было особо подчеркнуто и обосновано.

Решающее влияние Шридамановой головы, сказывавшееся уже в том, что супруг и повелитель Ситы облакал свое новое тело не в одежды, обычные для Нанды, но в свои прежние, а также в его решительном нежелании, по примеру Нанды, умащать тело горчичным маслом: у него от этого запаха болела голова, почему он и пренебрегал народным косметическим средством, что сразу же явилось известным разочарованием для Ситы. Разочаровывало ее, пожалуй, и то, что поза Шридамана, когда он сидел на полу, определялась, — впрочем, об этом едва ли нужно упоминать, — не телом, а головой, он не признавал сиденья на корточках — излюбленное положение Нанды — и всегда садился бочком. Но все это были только мелочи начальной поры.

Шридаман, внук брахманов, и в теле Нанды продолжал быть тем, кем он был, и жить, как жил прежде. Не будучи ни кузнецом, ни пастухом, а купцом и купеческим сыном, пособлявшим отцу в его почтенной торговле, он со временем, так как родитель стал быстро дряхлеть, успешно возглавил ее. Шридаман не держал в руках тяжелого молота и не пас скота на горе Пестрая Вершина, а покупал и продавал щебенку, камфару, шелк и ситец, а также ступки для риса и трут, снабжая этим товаром жителей «Благоденствующих коров», а в свободное время читал Веды. И ничего нет удивительного, хоть в остальном и очень удивительно звучит эта история, что на нем руки Нанды утратили свою мощь и сделались тоньше, грудь стала узкой и даже впалой, живот опять затянулся жирком, — короче говоря, для Ситы он вскоре снова приобрел мужний облик. Даже завиток «счастливого тельца» у него хоть и не вовсе исчез, но так поредел, что его уже трудно было принять за отметину Кришны. Сита, его жена, с тоскою это отмечала. И все же нельзя отрицать, что результатом такой действительной, а не только навеянной Майей перечекилки, распространившейся даже на цвет кожи, которая сделалась заметно светлее, явилась известная утонченность, облагороженность, если понимать это слово отчасти в брахманском, отчасти же в купеческом смысле; ибо меньше и тоньше сделались руки и ноги Шридамана, нежнее колени и лодыжки и все вообще, — словом, радостное тело друга, в прежнем сочетании бывшее самым главным, теперь превратилось в вялый придаток головы, благородным и возвышенным порывам которой оно больше не могло и не стремилось повиноваться в райской полноте счастья и отныне разве что составляло этой голове довольно скучливую компанию.

Таков был брачный опыт Ситы и Шридамана, правда, пришедший к ним после несравненных восторгов медового месяца. Конечно, этот опыт не зашел столь уж далеко, и нельзя утверждать, что тело Нанды окончательно и полностью обратилось в тело Шридамана и что все, следовательно, осталось по-старому, отнюдь нет. Эта история ничего не преувеличивает, а только подчеркивает относительность телесного

превращения, при всей его неоспоримой очевидности, достаточной для понимания того, что речь здесь идет о взаимодействии между головой и прочими членами, а также, что его сущность и своеобычность как-никак подчинялась законам видоизменения и приспособления, которые, поскольку речь идет о природном явлении, видимо, объясняются взаимосвязью соков головы и тела, а с точки зрения познания сущего восходят к взаимосвязям и более высоким.

Существует красота духовная и красота, вызывающая к чувствам. Однако многим хочется целиком и полностью отнести красоту к чувственному миру и решительным образом отделить от нее духовное, то есть расщепить эти два мира и противопоставить их друг другу. На этом ведь зиждется и древнее учение, изложенное в Ведах: «Двойное блаженство дается нам в мирах — через радости тела и в спасительном спокойствии духа». Но из этого учения о блаженстве уже явствует, что духовное не может быть противопоставлено красоте таким образом, каким ей противопоставляется уродливое, и что приравнять дух к уродству можно лишь условно. Духовное не равнозначно уродству и не всегда должно с ним совпадать, ибо оно приобщается к красоте путем познания красоты и любви к ней, а любовь в свою очередь проявляет себя как духовная красота, и потому она отнюдь не обречена на безнадежность и не чужда области красоты; ведь в согласии с законом притяжения противоположностей и красота стремится к духовному, им восхищается, уступает его домогательствам. Не так создан наш мир, чтобы духу суждено было любить лишь духовное, а красоте лишь прекрасное. Более того, именно то, что эти два понятия друг другу противоположны, позволяет нам с ясностью, столь же духовной, сколь и прекрасной, прозреть, что мировой целью является объединение духа и красоты, иными словами — совершенство, уже не расколотое надвое. История же, которую мы здесь рассказываем, всего-навсего пример опасностей и ошибок, встречающихся на пути к этой конечной цели.

Шридаман, сын Бхавабхути, в добавление к своей благородной голове, питавшей любовь к прекрасному, по нечаянности приобрел еще и прекрасное, рьяное тело; и поскольку дух был силен в нем, он ощутил нечто вроде печали, оттого что чужое сделалось его собственным и не могло уже быть предметом восхищения, иными словами: что теперь он сам был тем, к чему его влекло. Эта «печаль», к сожалению, сказывалась в переменах, которые происходили с его головой, отныне сочетавшейся с новым телом, ибо эти перемены происходили с головой, которая сама обладает красотой, а потому утратила любовь к красоте, иначе — духовную красоту.

Открытым остается вопрос, не свершилось ли бы все это и без перемены тела, просто в силу супружеского обладания прекрасной Ситой? Впрочем, мы уже указывали на черту всеобщности, присущую этой истории, разве что усилившуюся и заостренную благодаря чрезвычайным обстоятельствам. Разумеется, для слушателя, интересующегося происходящими в природе процессами, это будет только интересно, для Ситы же было весьма огорчительно, когда у нее открылись глаза на то, какими пухлыми и сытыми выступали теперь из бороды некогда узкие и тонко очерченные губы ее супруга, более того, что они даже стали выворачиваться наружу и походить на опухоль, или что нос его, некогда тонкий, как лезвие ножа, сделался мясистым и выказывал явную склонность загибаться книзу, и становился доподлинно козым носом, в глазах же утвердилось выражение туповатой жизнерадостности. Теперь это был Шридаман с телом Нанды, только более утонченным, и Шридамановой, но огрубленной головой; ничего настоящего своего у мужа Ситы больше не было. Здесь рассказчик еще и еще раз просит слушателей вникнуть в чувства, которые переполняли Ситу в то время, как свершались эти перемены с ее мужем, ибо, конечно же, она не могла не думать, что подобное происходит и с ее далеким другом.

Когда она предавалась мыслям о теле мужа, которое держала в своих объятиях в

первую, не столь уж полную блаженства, но священную и пробудившую ее ночь, о теле, которым она больше не владела, или, вернее, поскольку оно теперь было телом друга, все еще не владела, — то не сомневалась, что Майя Нандова тела перешла в него и точно знала, где теперь ей искать завиток «счастливого тельца». И также была она уверена, что с прямодушной головою друга, ныне венчавшей тело мужа, произошли те же облагораживающие перемены, что и с телом друга, увенчанным мужней головой. Это представление трогало ее еще больше, чем другое, и ни днем, ни ночью, даже в объятиях ее господина и повелителя, не давало ей покоя. Все время мерещилось ей похорошевшее в одиночестве тело мужа, в сочетании с облагороженной головою друга, в разлуке с нею уж конечно охваченное духовным томлением. Страстное сочувствие к отторгнутому неуклонно росло в Сите, так что даже на супружеском ложе, в минуты сладострастия, она бледнела от горя.

XII

Когда пришло ее время, Сита подарила Шридаману свое зернышко, родила мальчика, которого они называли Самадхи, что означает «сосредоточенность». Над новорожденным помахали коровьим хвостом, чтобы отвести от него беду, и с этой же целью положили ему на головку коровий навоз, — словом, чин чином исполнили все, что требуется. Родители (если здесь уместно это слово) радовались безмерно, что мальчик не был ни бледен, ни слеп. Но вот кожа у него была очень светлая, что, видимо, следовало отнести за счет материнского происхождения из рода воинственных кшатриев, к тому же, как мало-помалу выяснилось, он был очень близорук.

Из-за близорукости Самадхи впоследствии прозвали еще и Андхака, то есть слепой, и это имя постепенно взяло верх над прежним. Между прочим, близорукость сообщила его газельим глазам мягкий, обаятельный блеск, так что они были еще краше, чем глаза Ситы, на которые очень походили, да мальчик и вообще выдался не в кого-нибудь из двух своих отцов, а решительнейшим образом в мать; и ничего тут нет удивительного, ведь именно она несомненно и недвусмысленно произвела его на свет, и вся его стать, естественно, восходила к ней. Поэтому он был чудо как красив, и, едва миновала скрюченная пора мокрых пеленок и он стал понемногу вытягиваться в длину, тело его оказалось на редкость сильным и гармонически прекрасным. Шридаман любил его как свою плоть и кровь, и в его душу уже закрадывалась готовность уйти из мира, желание передать свое бытие сыну и в нем продолжить свою жизнь.

Но годы, когда Самадхи-Андхака, лежа у материнской груди или в своей люльке, подвешенной к потолку, становился так красив и мил, совпали с годами упомянутой перечеканки головы и членов Шридамана, перечеканки, до такой степени придавшей ему внутренне и внешне мужнее обличие, что Сита уже не могла более справиться с собой, и ее тоска по далекому другу, в котором она видела родителя своего сыночка, сделалась поистине неборимой. Желание свидеться с ним, посмотреть, каков он в свою очередь стал теперь в согласии с законом соответствия, и представить ему своего чудесного сыночка, чтобы и друг мог на него порадоваться, — это желание целиком завладело ею, хотя сказать о нем мужней голове она все-таки не отважилась. Посему, когда Самадхи минуло уже четыре года и все кругом стали называть его Андхака и он, правда, спотыкаясь, все же начал ходить, а Шридаман уехал из дому по торговым делам, Сита решила пуститься в дорогу и, чего бы это ей ни стоило, разыскать отшельника Нанду и его утешить.

Однажды весенним утром, при свете звезд, так как солнце еще не вставало, она надела страннические сандалии, взяла в одну руку длинный посох, другою ухватила за ручонку

своего сына, на которого уже успела надеть ситцевую рубашку, и, вскинув на спину мешок с пропитанием, неприметно вышла с ним, в надежде на удачу, из дома и селения.

Отвага, с какою она противостояла затруднениям и опасностям странствия, свидетельствует о пылкой настойчивости ее желания. Возможно, что ей споспешествовала текшая в ее жилах воинственная кровь, пусть стократ разжиженная, но уж наверное споспешествовала красота обоих, матери и сына, потому что любому встречному доставляло радость словом и делом помогать столь прелестной страннице и ее темноглазому спутнику. Людям она говорила, что идет по городам и весям разыскивать отца этого ребенка, своего супруга, который из неодолимого стремления к созерцанию сущего сделался лесным отшельником и которому она хочет привести сына, чтобы он просветил и благословил его; и это тоже благоприятно действовало на людей, делало их добрыми и почтительными. В деревнях и селениях ей давали молока для малютки и почти всегда устраивали им обоим ночлег на сеновалах или на земляных скамьях близ мест сожжения. Крестьяне, работавшие на рисовых полях или на плантациях джута, сажали их в свои повозки и подвозили на большие расстояния, а если не случалось такой оказии, она быстро шагала, держа мальчика за руку и опираясь на свой посох, по пыльным проселкам, причем на каждый ее шаг приходилось два шага Андхаки, и при этом его блестящие глаза видели перед собою лишь совсем малый кусок дороги, Сита же смотрела далеко вперед, в даль, полную ожидания, и цель, к которой ее вела сострадательная тоска, все время стояла у нее перед глазами.

Так пришла она в лес Дандака, ибо предполагала, что именно в этом лесу ее друг сыскал для себя безлюдную пустынь, но уже на месте узнала от святых, которых усердно расспрашивала, что его там нет. В большинстве своем отшельники не могли или не хотели сказать ей больше; но их жены, ласкавшие и кормившие маленького Самадхи, в доброте душевной поведали ей и еще нечто немаловажное, а именно, где найти Нанду. Ибо мир ушедших от мира ничем не отличается от любого другого, и те, что к нему принадлежат, отлично знают, что он полон сплетен, пересудов, ревности, любопытства, жажды превзойти ближнего, и каждый пустынный прекрасно осведомлен, где и как живет его собрат. Потому-то эти добрые женщины и смогли сказать Сите, что отшельник Нанда избрал для своего пребывания место у реки Гомати, или, по-другому, Коровьей реки, в семи днях пути отсюда, и что будто бы это весьма отрадное местечко со множеством разнообразных деревьев, цветов и вьющихся растений; воздух там полон птичьего гомона, и животные стадами бродят по лесам, берег же реки изобилует корнями, клубнями и плодами. Собственно говоря, Нанда выбрал себе несколько слишком приятный уголок, чтобы более суровые святые могли всерьез принимать его подвижничество, тем паче что, кроме обета молчания и омовения, он не давал других сколько-нибудь стоящих обетов; питается же этот отшельник, ни много, ни мало, лесными плодами, диким рисом в пору дождей, а иногда даже жареной птицей и ведет разве что жизнь человека опечаленного и разочарованного. Что касается дороги к нему, то она не представляет особых трудностей, если не считать теснины разбойников, ущелья тигров и долины змей, где уж конечно придется держать ухо востро и, главное, не трусить.

Получив такого рода наставление, Сита простилась с сердобольными женщинами из леса Дандака и, окрыленная новой надеждой, по-прежнему продолжала свой путь. День за днем счастливо протекало ее странствие, ибо, возможно, что Кама, бог любви, в союзе с Шри-Лакшми, [51 - Шри-Лакшми (счастье, удача) — жена Вишну, богиня красоты, счастья и богатства, вышедшая из волн молочного моря.] властительницей счастья, хранили каждый ее шаг. Беспрепятственно прошла она через теснину разбойников; благодушные пастухи научили ее, как обойти ущелье тигров, а в долине ядовитых змей, которую нельзя было миновать, она не спускала с рук маленького Самадхи-Андхаку.

Но достигнув Коровьей реки, она опять повела его за ручку, правой рукой опираясь на

свой страннический посох. Утро мерцало росой, когда ей открылась река. Некоторое время Сита шла вдоль поросших цветами берегов, а затем, в согласии с полученными ею указаниями, свернула в сторону и полем двинулась к виднеющейся вдали полоске леса, из-за которого как раз вставало солнце, и весь он, точно огнем, горел цветами красной ашоки и древа кимшука. Слепленная сиянием утра, она прикрыла глаза рукою и сразу же заметила на опушке леса хижину, крытую соломой и лыком, и возле нее юношу в одежде из рогожи, подпоясанного травами, который с топором в руках что-то ладил там. Подойдя еще ближе, она увидела, что руки у него так же крепки, как те, что качали ее на качелях до самого солнца, нос же нисколько не смахивает на козий, а напротив, весьма благородно очерчен, и губы под ним тоже лишь чуть-чуть припухлые.

— Нанда! — крикнула она, и сердце ее вспыхнуло ярим пламенем от радости. Ибо он показался ей Кришной, истекавшим могучей нежностью.

— Нанда, взгляни сюда, это Сита пришла к тебе!

И он уронил свой топор и побежал ей навстречу, и «завиток счастливого теленка» был у него на груди. Тысячами приветственных, любовных имен звал он ее, так как очень истосковался по ней, по всей своей Сите, истосковался душою и телом.

— Ты пришла наконец! — восклицал он. — О, моя лунная нежность, женщина с глазами куропатки, Сита, прекрасная куда ни глянь, златокожая, пышнобедрая жена моя! Как часто снилось мне по ночам, что ты идешь по равнинам ко мне, отверженному, одинокому, и вот ты и вправду здесь, ты одолела разбойничью тропу, тигровые заросли и змеиный дол, которые я умышленно проложил между нами со зла и досады на приговор отшельника! Ах, ты замечательная женщина, Сита! Но кого это ты привела с собой?

— Это зернышко, — отвечала она, — которым ты одарил меня в первую священную брачную ночь, когда еще не был Нандой.

— Ну, эта ночь, верно, оставляла желать лучшего, — сказал он. — Как же его зовут?

— Его имя Самадхи, — отвечала она, — но мало-помалу его стали звать Андхакой.

— Почему так? — спросил Нанда.

— Не подумай, что он слеп, — воскликнула она. — Этого про него нельзя сказать, так же как нельзя сказать, что он бледен, хотя кожа у него белая. Он только очень близорук и уже за три шага ничего не видит.

— Это имеет свои преимущества, — отвечал Нанда. И они усадили мальчика чуть поодаль на зеленеющую траву и дали ему цветов и орехов — поиграть. Теперь ему нашлось занятие, и потому то, во что они играли сами, под птичий щебет, доносившийся с озаренных вершин, среди цветущих манговых деревьев, благоухание которых множит любовную страсть по весне, осталось вне поля его зрения.

Далее в сказании говорится, что супружеское счастье этой влюбленной четы длилось всего один день и одну ночь, ибо не успело солнце вторично взойти над багряно-цветущим лесом, к которому жалась хижина Нанды, как Шридаман, по возвращении в свой осиротевший дом тотчас догадавшийся, куда отправилась его супруга, уже прибыл туда. Домочадцы в «Обитатели благоденствующих коров», со страхом поведавшие ему об исчезновении Ситы, ждали, конечно, что гнев его вспыхнет, словно огонь, в который подлили масла. Но этого не случилось, он только долго и медленно качал головой, как человек, знавший все наперед, и не в ярости и жажде мести, а, правда, без передышки, но

и не спеша, пустился вслед за женой, в пустынь Нанды. Он ведь уже давно знал, где находится Нанда, и только скрывал от Ситы, чтобы не торопить роковое и неизбежное.

Тихонько подъехал он на своем яке, всегда служившем ему для долгого пути, спешил под утренней звездой у хижины и даже не прервал объятия четы там, внутри, а сел и стал дожидаться, покуда его разомкнет день. Ревность его была чужда будничности, заставляющей сопеть и задыхаться того, кто существует сам по себе, ревность же Шридамана просветляло сознание, что его собственное прежнее тело вновь вступило в брачный союз с Ситой, и потому это с одинаковым успехом могло считаться проявлением верности и проявлением измены; а познание сущего поучало его, что, собственно, безразлично, с кем спит Сита, с ним или с другим, ибо она, даже если другому при этом ничего не доставалось, все равно спала с ними обоими.

Отсюда и неторопливость, с какою он совершал свой путь, отсюда спокойствие и терпение, с каким он дожидался рассвета. Что при всем том он не был склонен предоставить вещам идти своей чередой, явствует из продолжения этой истории, согласно которому Сита и Нанда, с первым солнечным лучом выйдя из хижины, где еще спал маленький Андхака, — на плечах у них висели полотенца, так как они собирались искупаться в протекающей поблизости реке, — нежданно увидели друга и мужа, сидевшего к ним спиной и не обернувшегося на их шаги, — подошли к нему, смиренно его приветствовали и в конце концов полностью согласились с его волей, признав необходимым и неизбежным решение, которое он принял, едучи сюда, относительно всех троих, дабы распутать эту путаницу.

— О Шридаман, господин мой и достопочтенная супружеская глава! — сказала Сита, низко склоняясь перед ним. — Привет тебе, и не думай, что твое прибытие нам страшно или нежелательно! Ведь там, где двое из нас, всегда будет недоставать третьего, а потому прости, что я не устояла и, движимая безмерным состраданием, отправилась к одинокой голове друга!

— И к телу мужа, — подхватил Шридаман. — Я прощаю тебя. И тебя тоже, Нанда, и прошу в свою очередь простить меня за то, что я настоял на соблюдении приговора святого, приняв в расчет только свою душу и чувства, с твоими же не посчитался. Правда, ты сделал бы то же самое, если бы приговор оказался таким, какого ты ждал. Ибо участь смертного — в тщете и разделенности этой жизни — заслонять свет друг другу, и напрасно лучшие из нас грезят о бытии, в котором смех одного не означал бы слезы другого. Слишком уж я положился на свою голову, радовавшуюся твоему телу, — ибо вот этими, только слегка похудевшими, руками ты качал Ситу на качелях до самого солнца. И я льстил себе, полагая, что после нашего преображения именно я смогу предложить ей все, о чем она тоскует. Но любовь требует всего целиком. Поэтому мне и пришлось дожить до того, что наша Сита стала настойчиво домогаться твоей головы и ушла из моего дома. Если бы я был уверен, что в тебе, мой друг, она обретет прочное счастье и удовлетворение, я бы повернул вспять и дом моего отца сделал бы своей пустыней. Но я в это не верю! Нет, если вблизи от головы мужа на плечах друга она тосковала по голове друга на мужних плечах, то, без сомнения, ее охватит и сострадательная тоска по голове мужа на плечах друга — нигде не знать ей покоя и удовлетворения; далекий супруг неизменно будет превращаться в друга, которого она любит, и к нему поведет она нашего сынка Андхаку, ибо в нем будет видеть его отца. А жить с нами обоими ей нельзя, потому что многомужество среди высших существ недопустимо. Верно ли то, что я говорю, Сита?

— Как ты сказал, так оно, на беду, и есть, мой господин и друг, — отвечала Сита. — Но мое сожаление, которое я облекла в словцо «на беду», относится лишь к одной части твоей речи, а совсем не к тому, что ужас многомужества непонятен женщине, подобной мне. О, из-за этого у меня не вырвется «на беду»! Напротив, я горжусь, что со стороны

моего отца Сумантры во мне еще течет немного воинственной крови, и моя душа возмущается против такой низости, как многомужество: при всей слабости и при всем сумбуре плоти, высшему существу все же свойственно чувство гордости и чести!

— Ничего другого я и не ждал от тебя, — сказал Шридаман, — и ты можешь быть уверена, что этот образ мыслей, не зависящий от твоей женской слабости, я с самого начала учел в моих размышлениях. Итак, поскольку тебе нельзя жить с нами обоими, я убежден, что этот вот юноша, Нанда, мой друг, с которым я обменялся головой или телом, если угодно, присоединится ко мне в том смысле, что нам тоже нельзя жить и что единственный исход для нас — отрешиться от нашего обмененного обличия и вновь растворить наши существа во всесущности. Ибо если отдельное существо до того запуталось, как это имеет место в нашем случае, то лучше, чтоб оно расплавилось в пламени жизни, как масло в жертвенном огне.

— Шридаман, брат мой, — сказал Нанда, — ты с полным правом рассчитываешь на мое согласие. Оно неизбежно. Я даже не знаю, что нам осталось бы еще делать во плоти, после того как мы оба утолили свои желания и делили ложе с Ситой; моему телу дано было радоваться ей в твоём сознании, а твоему в моем, точно так же как она радовалась мне под знаком твоей головы, а тебе под знаком моей. Но мы смело можем считать, что наша честь не задета, ибо я обманывал только твою голову с твоим телом, а это в известной мере уравнивается тем, что Сита, пышнобедрая, обманывала мое тело с моей головой; а от того, чтобы я, некогда в знак верной дружбы тебе подаривший пучок бетеля, обманул тебя с нею, еще будучи Нандой головою и телом, нас, к счастью, упас великий Брахма. И все же, по чести, так дальше продолжаться не может, для многомужества и разделения двумя мужчинами ложа с одной женщиной мы слишком почтенные люди, о Сите уж и говорить не приходится, и о тебе тоже, даже и с моим телом. Но я и себя причисляю к почтенным людям, особенно, после того как моим сделалось твое тело. Посему я беспрекословно соглашаюсь со всем, что ты сказал относительно растворения, и я готов вот этими моими руками, окрепшими в пустыни, немедля соорудить костер. Ты знаешь, что я и раньше вызывался сделать это. И также знаешь, что я всегда был полон решимости не жить дольше тебя, и без колебаний последовал за тобою в смерть, когда ты принес себя в жертву богине. Но обманывать тебя я стал лишь тогда, когда тело супруга дало мне на то известное право и Сита привела ко мне маленького Самадхи, телесным отцом которого я должен себя почитать, хотя я охотно и с уважением признаю за тобой отцовство головы.

— Где Андхака? — спросил Шридаман.

— Он спит в хижине, — отвечала Сита, — и во сне набирается сил и красоты для жизни. Мы как раз вовремя о нем заговорили, ведь его будущее должно быть для нас важнее вопроса, как с честью выбраться из этой неразберихи. Впрочем, все это тесно связано одно с другим, и, заботясь о своей чести, мы заботимся о чести мальчика. Останься я с ним одна, как мне, быть может, и хотелось, когда вы вернетесь во всебытие, и он будет влачиться по жизни, несчастный вдовый ребенок, покинутый честью и счастьем. Но вот если я последую примеру благородных сати,^[52 - Сати — в древнеиндийской мифологии дочь бога Дакшни, супруга божества бури, Рудры, которая убила себя из-за ссоры между отцом и мужем. Это имя в Индии получала вдова, которая, по древнему обычаю, всходила на погребальный костер своего мужа.] что живьем следовали за мертвым супругом и вместе с ним всходили на костер, так что в их честь воздвигалиobeliski и каменные плиты на месте сожжения, — если я покину ребенка вместе с вами, тогда, только тогда, его жизнь будет почетна, и людское милосердие изольется на него. Посему я, дочь Сумантры, требую, чтобы Нанда соорудил костер для троих. Как я делила с вами ложе жизни, так должна объединить нас троих и кровавая постель смерти. Ведь, по правде говоря, мы и в жизни всегда бывали втроем.

— Никогда, — сказал Шридаман, — я не ждал от тебя другого ответа и наперед считался с гордостью и высокоумием, что живут в тебе наряду с женской слабостью. От имени нашего сына благодарю тебя за твое намерение. Но дабы выбраться из тупика, в который завело нас плотское вождение, и доподлинно восстановить свою честь и гордость, надо очень и очень подумать о формах этого восстановления, и тут мои мысли и планы, которые я строил во время пути, расходятся с вашими. Вместе с мертвым супругом испепеляет себя и гордая вдова. Но ты не вдова, покуда жив хоть один из нас, и еще большой вопрос, станешь ли ты ею, воссев вместе с нами живыми в огненном чертоге и вместе с нами прияв смерть. Итак, чтобы сделать тебя вдовой, мы с Нандой должны убить себя, то есть друг друга, ибо в нашем случае «себя» и «друг друга» равнозначны и, с точки зрения чистоты речи, вполне правильно. Мы должны биться, как олени за свою самку, двумя мечами, о них я уже позаботился, мечи приторочены к седлу моего яка. Но биться не затем, чтобы один победил, остался жив и унес с собою пышнобедрую Ситу: так дела не поправишь, ибо мертвый навсегда останется другом, по которому она будет сохнуть, бледнея в объятиях мужа. Нет, мы оба должны пасть, каждый должен быть поражен в самом сердце мечом другого, ибо другому принадлежит только меч, не сердце. Так оно будет лучше, чем обращать свой меч против собственного измененного и брэнного обличия; мне думается, что наши головы не имеют права выносить смертный приговор телу, соединенному с каждой из них, равно как наши тела не имели права на блаженство и брачное соитие, неся на плечах чужие головы. Трудной будет наша битва, поскольку голове и телу каждого придется поставить себе задачей биться не за себя и за единоличное обладание Ситой, а за то, чтобы одновременно нанести и принять смертельный удар. Но, с другой стороны, не труднее же будет осуществить это двустороннее самоубийство, чем отсечь себе голову, а ведь мы оба сумели совладать с собой и совершить этот поступок.

— Возьмемся за мечи! — крикнул Нанда. — Я готов к битве, ибо нет иного пути для нас, соперников, разрешить этот спорный вопрос. И он справедлив, этот путь, так как новое сочетание наших тел и голов сделало приблизительно равной и силу наших рук: мои стали слабее на твоём туловище, твои сильнее на моем. С радостью подставляю я тебе свое сердце, потому что обманывал тебя с Ситой, но и всажу меч в твое, дабы она не бледнела в твоих объятиях от тоски по мне, но как дважды вдова соединилась бы с нами в пламени.

И так как Сита с охотой приняла этот порядок и даже сказала, что он горячит ее воинственную кровь настолько, что она и не подумает убежать с места боя, а напротив, глазом не моргнув, будет следить за таковым, то смертоубийственная схватка тотчас же и состоялась перед хижиной, где спал Андхака, на усеянном цветами лугу меж Коровьей рекой и огненно цветущей полоской леса, и оба юноши, пронзив сердца друг другу, упали в ярко расцвеченные травы. Проводы же покойников, из-за того, что с этой священной церемонией было связано сожжение вдовы, превратились в великое народное празднество; тысячные толпы стеклись к месту сожжения, чтобы наблюдать за тем, как маленький Самадхи, прозванный Андхакой, в качестве ближайшего родственника мужского пола, щуря свои близорукие глаза, поднес факел к костру, сложенному из стволов манго и благоухающих сандаловых чурок, меж которых была проложена сухая солома, обильно политая растопленным маслом, дабы дружно и яро запылал огонь, в котором Сита из Воловьего Дола восседала между мужем и другом. Пламя костра взметнулось до самого неба, что случается не часто, и если прекрасная Сита и кричала некоторое время, потому что огонь, когда мы еще не мертвы, жжет очень больно, то голос ее настолько заглушался пронзительными звуками рогов и треском барабанов, что она словно бы и вовсе не кричала. Но преданию угодно утверждать, а нам ему верить, что радость воссоединения с возлюбленными обратила для Ситы зной в прохладу.

На том месте, где был сложен костер, ей поставили обелиск в память ее жертвы, а не до конца сгоревшие кости всех троих были заботливо собраны, политы молоком и медом и убраны в глиняный кувшин, который опустили в священные воды Ганга.

Зернышку же ее, Самадхи, вскоре для всех ставшему только Андхакой, отлично жилось на земле. Прославившийся благодаря празднику сожжения и как сын вдовы, удостоенной обелиска, он пользовался всеобщим благорасположением, которое из-за его расцветающей красоты нередко перерастало в нежность. Уже к двенадцати годам, обаятельный, просветленный прелестью своего обличья, он напоминал гандхарву, а на груди его начал обрисовываться «завиток счастливого теленка». И надо еще сказать, что он отнюдь не был в накладе от своей подслеповатости, напротив — она удерживала его от чрезмерной преданности плотской жизни и направляла на духовное. Когда ему исполнилось семнадцать лет, брахман, знаток Вед, взял его под свою опеку и научил просвещенной, правильной речи, грамматике, астрономии и искусству мышления, а в двадцать он уже был чтецом раджи Ванараси. На великолепной дворцовой веранде, в чистых одеждах, под шелковым белым зонтиком,[53 - ...под шелковым белым зонтиком... — Зонт у древних индийцев считался знаком царской власти, а иногда и одним из атрибутов божества.] он сидел и читал властелину своим чарующим голосом из священных и мирских писаний, причем близко держал книгу у своих темных, мерцающих глаз.

Примечания

1

Майя — богиня иллюзии, олицетворение обманчивости и призрачности всего земного. В индийских религиях и идеалистической философии Майя — магическая сила, при помощи которой Брахма творит весь чувственно воспринимаемый мир.

2

Великая кормилица вселенной — один из эпитетов богини Кали.

3

...опоясаны священным вервием и сопричислены к сонмищу «дважды рожденных». — Речь идет о древнеиндийском обряде, состоявшем в том, что юношу отводили к духовному наставнику, который опоясывал его шнуром, свитым из трех стеблей священной травы, вручал ему посох и посвящал божествам. Обряд этот, обязательный для трех высших каст, считался вторым рождением юноши, почему эти касты и назывались «дважды рожденными».

4

...в стране Кошала... — Кошала — местность, где был особенно развит культ бога Кришны, так как, по преданию, здесь Кришна сочетался браком с одной из своих супруг, Сатья, дочерью Нагнаджита, царя кошальского.

5

«Обитель благоденствующих коров». — Деревня названа в честь легендарной древней деревни Гокула («стадо коров, коровник»), где, по преданию, провел свои детские годы Кришна.

6

...воротами, обращенными на все четыре страны света... — В древней Индии существовал обычай строить храмы с четырьмя входами, посвященными божествам четырех стран света.

7

Богиня Речи — Сарасвати (богатая водами); — жена Брахмы, первоначально олицетворение реки, впоследствии богиня мудрости и красноречия, покровительница наук и искусств.

8

Брахманы. — В древней и феодальной Индии существовали четыре основные касты: брахманы — жрецы, кшатрии — воины, ваишьи — земледельцы, скотоводы, иногда — купцы, и шудры — ремесленники, считавшиеся низшей кастой и, по предположениям историков, происходившие от аборигенов страны, поработанных завоевателями, ариями.

9

...толкователей священных Вед... — Веды (знание) — древнеиндийские священные книги.

10

...последние... безусловно принадлежали к человеческому обществу. — В древней Индии низшие касты смешанного происхождения — чандала, парии и другие — считались презренными и стоящими вне человеческого общества.

11

...отец... сознательно остановился на жизненной ступени «отца семейства»... — Каждый брахман должен был пройти в своей жизни четыре стадии: брахмачари — ученика аскета, грихастха — отца семейства, ванаваши — пустытника и саинья-яси — аскета.

12

Гуру — духовный наставник, учитель.

13

Карма — в индийской религии и философии итог добрых и злых деяний в жизни человека, определяющий его судьбу в дальнейших перевоплощениях.

14

...как Кришна — темнокожий и черноволосый. — В древнеиндийской мифологии Кришна — земное воплощение бога Вишну, принявшего человеческий облик, чтобы спасти людей от злых демонов, асуров. Имя свое Кришна (Черный); получил за темный цвет тела, что свидетельствует о его происхождении от доведийских божеств.

15

...Шива, когда он двоится и... бородатым аскетом, лежит как мертвый у ног богини... — Шива — одно из верховных божеств древних индийцев, член троицы, состоящей из Брахмы — начало творческое, Шивы — начало гибели и разрушения и Вишну (Деятельный) — начало охранительное, олицетворение животворящих сил природы. Иногда бог Шива является в облике подвижника и тогда получает имя Махайоги («великий аскет-мудрец»).

16

Индрапрастха (обитель Индры) — древнее название современного города Дели.

17

...ящик с... драгоценными раковинами... — каури, маленькие морские раковины, с древнейших времен служившие в Индии мелкой разменной монетой.

18

Кали (Черная) — супруга Шивы, богиня смерти и разрушения, которой в древности приносились человеческие жертвы. Известна также под именем Парвати (Гордая), Бхайрави (Страшная) и др.

19

...в сугубо священном месте... — Место впадения реки Джамны (древняя Ямуна) в Ганг считается в Индии священным.

20

Земной млечный путь — один из эпитетов реки Ганга. По преданию, она течет не только на земле, но и на небесах и в подземном царстве.

21

Владычица всех радостей и упований — один из эпитетов богини Кали.

22

...символизирующих Шиву лингов. — Линга, или лингам — у древних индийцев религиозная фаллическая эмблема, символ бога Шивы; представляет собой каменный или глиняный столб конусообразной формы.

23

...у обоих юношей белой краской был выведен знак исповедуемого ими вероучения. — Имеется в виду знак касты или секты, изображаемый на лбу, на руках, на груди и т. п.

24

Нирвана (исчезновение, искупление) — согласно учению буддизма, блаженство небытия, высшее, совершенное состояние человека, освобождение души от оков индивидуальности и растворение «я» в мировой душе.

25

Сансара (странствование, течение жизни, бытие) — в индийской религии особый мир, в

котором происходит перерождение всего живого, странствия души, вечно переходящей из одной земной формы в другую.

26

Санскрит (обработанный, совершенный) — литературный язык древней и средневековой Индии.

27

Дравиды — группа народов, населяющих южную Индию. Некогда они составляли основное население Индии и создали высокую культуру, но в III тысячелетии до н. э. были оттеснены кочевыми скотоводческими племенами, говорившими на языках индийской группы индоевропейской семьи.

28

...«едущий на слоне», «господин над молниями» и «великий бог» — эпитеты бога неба Индры.

29

Что нам до великого Индры... мы захотели приносить жертвы коровам, лесным пастбищам и горам... — Намек на одну из легенд о Кришне, который уговорил пастухов отказаться от культа Индры и совершить жертвоприношение горе Говардхан,

30

...сокрушил крепости черных. — По преданию, в доисторические времена бог Индра даровал пришлым завоевателям, ариям, победу над уроженцами Индии — темнокожим племенем «дасью».

31

...по замыслу Брахмы. — Согласно учению брахманизма, Брахма является творцом вселенной, всеобщей, самодовлеющей душой, а все творения, люди и животные, представляют собой многообразные воплощения этой души.

32

Прамлоча — одна из небесных нимф-танцовщиц в свите бога Индры, нередко посылаемых богами для искушения святых подвижников.

33

Канду — в древнеиндийской мифологии отшельник, прославившийся своими аскетическими подвигами и сделавшийся почти равным богам.

34

...как если бы ты прочел мне стихи Ригведы. — Ригведа, или Веда Гимнов — древнейшая и наиболее важная из всех четырех Вед.

35

Праздник солнца — весеннее празднество в честь бога солнца, сына Брахмы, Сурьи, который изображался обычно в виде юноши на колеснице, запряженной семью изумрудными конями.

36

Шакти (сила, могущество) — женские божества, супруги богов Брахмы, Вишну, Шивы, олицетворение производительных и питающих сил природы.

37

Всесозидающая и Всепоглощающая — эпитеты богини Кали, указывающие на двойственный характер ее культа Дурга (Недоступная) — одно из имен богини Кали

38

Йони — эмблема плодородия, женского плодоносящего начала, представляющая собой горизонтальный плоский камень, через который проходит Столб лингама.

39

Курукшетра («поле Куру») — издавна почитавшаяся священной местность между городами Дели и Амбалой, где, по преданию, происходила легендарная битва, описанная в «Махабхарате», а также разыгрывались многие исторические сражения, решавшие судьбы Индии.

40

...Кама угодил в тебя цветочной стрелой... — Кама, или Камадева (любовь, желание) — индийский бог любви, сын Вишну и Лакшми. Обычно изображается вооруженным волшебным луком с тетивой из пчел и пятью цветочными стрелами.

41

Рати... сестра весны — жена Камы, богиня любовного счастья.

42

...Сита и означает «борозда». — В древнеиндийском эпосе «Рамаяна» Сита — дочь царя Джанаки, родившаяся из борозды, проведенной ее отцом вокруг жертвенника, и жена героя Рамы, земного воплощения бога Вишну. Имя Ситы носит также жена Индры, богиня земледелия и плодородия, призываемая во время пашни и посева.

43

...Сита не связана детским обетом. — В древней и феодальной Индии были в обычае браки, заключающиеся еще в младенческом или раннем детском возрасте.

44

День свадьбы, назначенный в строгом согласии с исчислениями звездочетов... — В старину в Индии брак мог состояться только при благоприятном заключении астрологов, которые должны были составить и сличить гороскопы жениха и невесты, так как расхождение между этими гороскопами могло иметь якобы самые пагубные последствия для семейной жизни.

45

...речка... вырывается из ворот Химаванта... — Химавант («Снежный») — древнеиндийское название Гималайского хребта.

46

Девы (Божественная) — одно из имен богини Кали.

47

...раджа гандхарвов Читраратха... — Гандхарвы — небесные певцы и музыканты из свиты Индры.

48

Йоги — последователи одной из школ в индийской философии, ставившей себе целью полное слияние, отождествление человеческой души с божеством путем особой, детально разработанной системы аскетических упражнений.

49

...со змеей, у которой вырастают две головы, когда отсечешь ей одну. — Речь идет о легендарном тысячеголовом царе змей, повелителе подземного мира, Шеша, на котором покоится Вишну, спящий в промежутках между периодами творения мира.

50

Кайотсарга — одно из положений тела, входящих в систему упражнений йогов.

51

Шри-Лакшми (счастье, удача) — жена Вишну, богиня красоты, счастья и богатства, вышедшая из волн молочного моря.

52

Сати — в древнеиндийской мифологии дочь бога Дакшни, супруга божества бури, Рудры, которая убила себя из-за ссоры между отцом и мужем. Это имя в Индии получала вдова, которая, по древнему обычаю, всходила на погребальный костер своего мужа.

53

...под шелковым белым зонтиком... — Зонт у древних индийцев считался знаком царской власти, а иногда и одним из атрибутов божества.

comments

Комментарии

1

Перевод С. Апта.